



#ПРИВЯЗАННОСТЬ

#ТРУДНОЕ_ПОВЕДЕНИЕ

Людмила
Петрановская

ВЗРОСЛЫЕ
и дети

#МИНУС_ОДИН

#НУЖНА ПОМОЩЬ

#МЫСЛИ_НА_БЕГУ

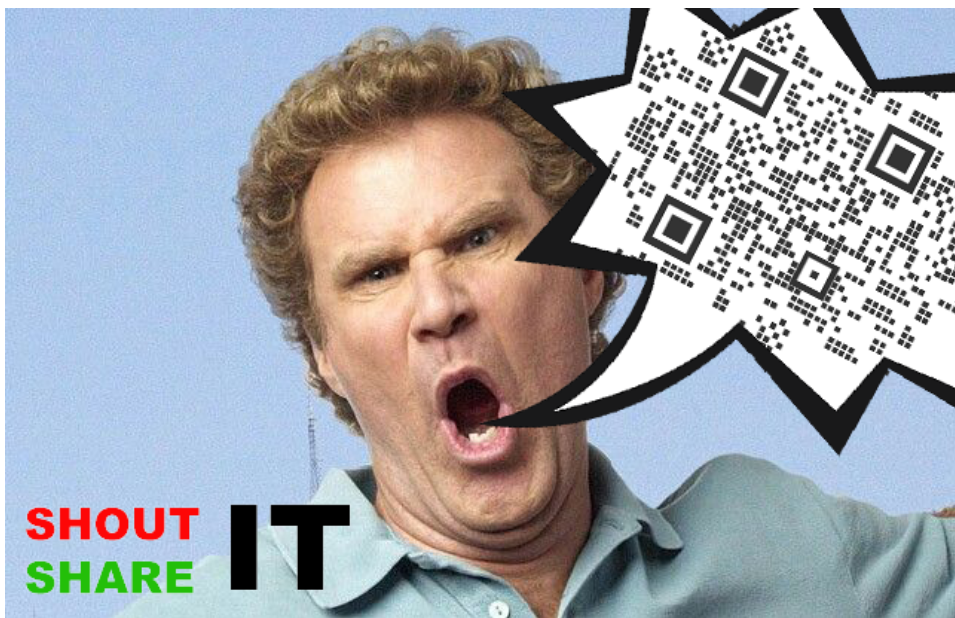
#МНОГОБУКВ

#ПОДРОСТКИ

#РОДИТЕЛЯМ

#НЕ_ПСИХОЛОГИЯ

#ШКОЛА



Annotation

Людмила Петрановская – известный психолог, лауреат премии президента РФ в области образования, автор бестселлеров «Тайная опора», «Если с ребенком трудно», «Что делать, если...», и «Что делать, если...2». Благодаря своей практической значимости книги Людмилы Петрановской стали абсолютными хитами среди научно-популярной литературы по воспитанию детей. В данной книге собраны тексты разных лет из блога Людмилы. В нем она размышляла о детях и взрослых, отвечала на вопросы родителей, рассказывала о проблеме сиротства и защите прав детей. Какие возрастные задачи решаются в разные периоды детства, как говорить с детьми о тяжелых вещах, какие слова могут поддержать ребенка, как влияет на нашу жизнь детский опыт, как реагировать на травлю и что в этом случае можно сделать, почему ребенку важно расти в семье и с какими сложностями сталкиваются приемные родители. Эти и многие другие темы звучат в книге очень лично, в жанре разговора с читателем. В формате PDF A4 сохранён издательский дизайн.

- Людмила Петрановская



- Предисловие

- Глава 1

- Про возраст, время и подснежники

- Про Макаренко, или коллективное воспитание

- Говорить ли с детьми о тяжелом?

- Еще раз про вину

- Чего ради

- Мы так боимся, что ребенка заберет у нас смерть, что забираем у него жизнь

- Знание о том, что тебя не сдали

- Глава 2

- Найдите 10 отличий

- Дисциплинарная психиатрия

- Защита детей становится жестоким обращением

- Десять лет, однако

- Про детское горе

- Уровни благотворительности

- Невидимые миру слезы

- Большая очередь

- А в Смоленске было вообще нечто новое

- 25 мая
- А если они не справятся?
- Про тайну
- По уму
- Травмы привязанности
- Тестирование кандидатов
- Глава 3
 - Про «личностный рост» и безопасность
 - Про «все переругались»
 - Детки в клетке
 - Предельный способ
 - «Иди и бейся от нашего имени»
 - Избы, полные сора
- Глава 4
 - Война как травма
 - А теперь прозой
 - Передача травмы: про родителей
 - Зачем Герасим утопил Муму
 - Посттравматический синдром национального масштаба

Людмила Петрановская

Взрослые и дети. #Многобукв

© Л. В. Петрановская, текст, 2022

© ООО «Издательство АСТ», 2022

Предисловие

Если честно, когда мне предложили сделать книгу на основе постов из моего блога в Живом Журнале, у меня было очень много сомнений. Тексты десятилетней давности, написанные быстро, в пылу очередного холивара, – кому они могут быть интересны? В половине случаев я даже не сразу могу вспомнить, что там был за контекст, на что я откликалась?

Но издательство хотело попробовать, была сделана первая подборка, я начала читать – и захватила ностальгия.

ЖЖ – моя первая любовь в сетевом мире, незабываемая, неповторимая. Часть моей души.

Я начинала вести блог из прагматических соображений – так было быстрее и проще общаться с коллегами из разных мест. Планировалась дискуссионная площадка по вопросам сиротства и приемности на несколько десятков человек. Я никогда не планировала «развивать блог», «продвигаться в Интернете», «предъявляться» и все вот это вот, чем сейчас занят, кажется, любой и всякий обитатель Сети. Кажется, я последняя узнала, что стала «тысячником» и вообще, что можно где-то посмотреть эту статистику. Техническая часть никогда не была моей сильной стороной. Сколько нервов стоило освоить кат и вставку фото. ☺

Мы просто общались с друзьями, коллегами, а иногда я писала какие-то мысли. О детях, о родителях, о семейном устройстве, о психологии, об обществе. На эти тексты приходили люди, писали в ответ интересное. Спорили, соглашались.

Постепенно за никами и аватарами проступали личности, я узнавала, кто откуда, чем занимается, чем увлечен, что про что думает, какие у него дети и какой песик/котик, какой вид из окна и какой фильм он терпеть не может.

Это было каким-то невероятным новым миром, в котором жизнь шла параллельно обычной реальности, а иногда они сталкивались и смешивались. Раз – и ты уже в гостях у «человека из ЖЖ», в другой стране. Два – и вы уже с кем-то из френдов вместе работаете и у вас НКО. Три – и тебя зовут провести семинар в другой город, потому что «все вас читают и ждут».

Только задним числом понимаешь, насколько ЖЖ был прекрасной площадкой для обсуждений: виртуальным гайд-парком, салоном, городской площадью, перепиской, лабораторией – чем только он не был! Возможность лонгридов, неограниченных ничем, кроме терпения читателя. Удобная система комментариев, которые располагались ветками и легко находились. Полностью тобой контролируемая лента друзей,

которая, будучи толково собранной, заменяла все вообще СМИ – ничего больше не надо было, точно ни одна важная новость или интересный текст мимо тебя не пройдет. Я даже еще помню времена без рекламы...

ЖЖ на несколько лет стал для меня «дубльдумом» из книжек про Гарри Поттера – иногда невозможно было работать, пока не «выльешь» в блог какие-то мысли и переживания.

После некоторых постов у меня возникало чувство, что я оказалась в роли ведущего группы – столько чувств плескалось, так полыхала групповая динамика. Люди с разных континентов делились мыслями, болью, радостью, плакали, гневались, обдумывали сложные вопросы, шутили. Я читала каждый – абсолютно каждый – комментарий, чувствовала свою ответственность за безопасность людей, которые открывались, внимательно следила за правилами, не оставляла ни один бурный спор без модерирования. Это требовало много сил и времени, но того стоило – многие ветки комментов сами по себе были очень содержательными, блестящими по форме произведениями полемического жанра. А приступы сотворчества в ночи, когда все вдруг начинали сочинять смешные стихи или азартно спорить, почему Татьяна отказала Онегину и козел ли мистер Рочестер или сойдет, – как в компании старых друзей за столом, при этом за тысячи километров друг от друга.

Потом случился 2014 год и все это было выжжено ужасом и горем, и стыдом, и разочарованием во многих, кто казался близким. И вытоптано ордами ботов и троллей. А сверху накрыто толстым слоем пепла истощения.

На несколько лет я ушла из соцсетей совсем, не могла просто. Пару лет назад освоила новые, но все это на гораздо большей дистанции.

И вот сейчас перечитываю эти тексты... Многое кажется наивным, многое очень резким. Слишком вольный стиль, слишком широкие обобщения. Где-то я совсем не помню, о чем речь – явно с кем-то спорю, но с кем и о чем? Какие-то кейсы про детей вспоминаются мгновенно, ярко и во всех подробностях. Все эти дети уже выросли и, надеюсь, с ними все хорошо. Что-то из того, что возмущало, стало за эти годы явно лучше. А где-то думаешь: эх, а ведь это были еще цветочки...

Конечно, изменились какие-то мои мнения, оценки, формулировки.

Но не ценности.

Поэтому я решилась все-таки выпустить эту книгу – в память о важной части нашей жизни. Об огромной виртуальной площадке, на которой жила и развивалась общественная мысль

целой страны, изгнанная со страниц печатных СМИ и экранов – но полная сил и страсти. Он был очень живой, этот Живой Журнал.

Как отбирались эти тексты?

Объем оказался довольно большим, поэтому я разделила их на две условные большие части: «профессиональное» и «гражданское». Конечно, разделение символическое, про процессы в обществе я тоже пишу как психолог обычно.

В эту – первую – книгу вошло «профессиональное».

Здесь четыре главы, и это четыре мои профессиональные страсти:

- детско-родительские отношения;
- сиротство и приемность;
- группа и процессы в ней;
- травма и передача травмы в поколениях.

Все это темы, которые всегда вызывали у меня жгучий интерес, которыми я занималась как психолог и как представитель третьего сектора.

Пятая страсть – социатрия, изучение общества через оптику психологии, она же – «гражданская». Про нее будет отдельная книга, потому что текстов там много, включая статьи.

Конечно, я брала не все тексты, а только те, что мне самой было сейчас интересно перечитать. Сокращала что-то, сиюминутное и уже непонятное. Правила очень мало, только если что-то явно мешало воспринимать текст. Иногда в скобках курсивом – комментарии от меня сегодняшней, только там, где это совершенно необходимо. В остальном – противоречий очень много, но их исправить не хочу (С) – как написалось тогда, так и есть.

По уму, конечно, стоило бы включить еще очень многие потрясающе ценные и интересные комментарии от читателей – но как это сделать на плоской бумаге?

Спасибо всем, кто был со мной там.

И тем, кто остался с тех пор в моей жизни.

И всем, кого больше нет на свете, но там – в наших жарких спорах, в словах поддержки в трудную минуту, в веселом вербальном хулиганстве, в искренней радости детям, встречаю, успехам друг друга – они все еще живы.

Глава 1

Дети и родители

Про возраст, время и подснежники

20 марта 2010 г.

Одна из самых вредоносных формул в воспитании звучит так: «Если ребенка сразу (не) приучишь, то так будет всегда». Не нужно приучать к рукам. Нужно сразу приучать к аккуратности. Не нужно приучать спать с мамой. Нужно сразу приучать оформлять письменные работы правильно. И т. д., и т. п.

Такой подход подразумевает взгляд на ребенка как на банку с крышкой, куда что засунешь, так оно там и останется. При всей очевидной вроде бы абсурдности этот взгляд обладает прямо-таки магнетическим действием, буквально гипнотизируя взрослых. «Ну как же так? Так и оставить? Но ведь тогда он будет ВСЕГДА (сосать палец, рыдать в магазине игрушек, забывать сделать уроки, играть в компьютер, любить Диму Билана – нужно подчеркнуть)! Нужно же что-то делать!» А-а-а, мы все умрем!

Я обычно говорю: «Слушайте, это вообще интересный ход мысли. Предлагаю не переводить ребенка за руку через дорогу. Надо сразу приучать! А то что же, так и будет всегда только с нами ходить?». Замешательство. «Нет, так нельзя, это другое». Чем другое, а? Вот ребенок боится спать один. Ну, мы-то, конечно, знаем, что скелет под кроватью, которого он боится, – нереален, в отличие от машин на дорогах. Но для него-то реален! Гораздо более чем, потому что скелет, такой страшный, он почти прямо видит, и почти прямо слышит, как тот скребет своими костями об пол. А машина – чего ее бояться? Едет и едет. Яркая, красивая.

Как, интересно, дети объясняют себе, почему от одних опасностей взрослые готовы их оберегать, и даже с чрезмерным рвением, а другим спокойно отдают на растерзание, да еще и стыдят, что ты боишься? Какая у них на эту тему версия в голове? Хотелось бы узнать.

Или вот начальная школа. Ну зачем в первом классе уделяется столько внимания оформлению? «Чтобы сразу приучить, а то...» ОК, давайте приучим сразу интегралы решать? Почему-то мысль о том, что семилетний ребенок не может решать интегралы, очевидна. А мысль о том, что он не может, просто в силу возрастных особенностей, упомянуть все эти алгоритмы: четыре клеточки сюда, а если на последней строке, то не начинаем, а если не поместилось, то вот так. И все это надо делать одновременно с собственно письмом и думаньем!

Такой чудесный возраст – с семи до десяти! Такой

творческий, богатый, такой страстный интерес к тому, как устроен мир, такая способность к неожиданным обобщениям, ассоциациям, такая синтетичность восприятия любого предмета! Видеть мир не как набор научных дисциплин, а весь, как живой единый организм, думать о бабочках, о звездах, о составе грязи под ногтями, об ураганах, о викингх, об атомах, о том, почему люди смеются, – с интервалом в пять секунд, а то и вовсе одновременно. Не просто думать – чувствовать про это, пропускать через всего себя.

Эти невероятные упорство и самоотдача в занятии тем, что интересно! Часами, с упоением, забыв обо всем, футбол ли это, конструктор, рисование, фантазирование – у кого что! Придумываются игры, рождаются свои Швамбрании и Терабитии, все эти клады, тайны, шифры. Стремительное развитие всех мыслительных функций, как цветок в ускоренной съемке разворачивается из бутона. Растет (должна расти, по крайней мере) уверенность в себе, самостоятельность, способность действовать в неожиданных, меняющихся обстоятельствах. Тяга к приключениям, к новому опыту. Зарождение дружбы, уже не детской, а настоящей, которая может быть на всю жизнь.

Идеальный мир ребенка этого возраста показан в мультиках «Земля до начала времен». Своя компания друзей, свобода, настоящие приключения, но где-то рядом есть мудрые и сильные взрослые, которые, если что, придут на помощь, а вечером уложат спать. И больше от них ничего не нужно.

А теперь подумаем, на что тратятся эти годы. Четыре клеточки вниз, две строки пропустить. О чем ты думаешь, Петров? Ты опять витаешь в облаках на уроке? ЧЕТЫРЕ клеточки, что тут непонятно? Еще раз, закрепляем. Повторим. Перепиши два раза. Напиши три строчки этого слова. Не шепчитесь. Не разговаривайте. На перемене не бегайте.

Почему у тебя такой бардак в портфеле? Неужели трудно аккуратно заполнить дневник? Хватит играть, нам некогда, пора на английский. Мы не можем позвать в гости Владика, ты не успеешь позаниматься музыкой. Ты не пойдешь гулять, пока не будут сделаны уроки.

Все поперек задач возраста, все вопреки природе ребенка.

Учебники. Тоска смертная. Кто подбирает эти тексты? Кто закладывает эти бесконечные тошнотворные петли повторений пройденного, так что у ребенка создается стойкое впечатление, что отходил четверть и ничего нового не узнал?

Нормативы оценок: диктант без одной ошибки, но неаккуратно и с исправлениями. Трояк. Мораль для ребенка: содержание – ничто, форма – все. Главное, чтобы смотрелось, суть

не так важна. Еще одна мораль: ошибка фатальна. Заметил и исправил – это тебя не спасет. Потом удивляемся, откуда невроты и склонность опускать руки при первой же неудаче...

Программа: разделение на предметы, на темы, на блоки. Все раздроблено, один урок закончен, другой начат, одна тема, потом другая, связи никакой. Ребенок приходит в конце первого класса со слезами: «Задача не получается!» Проверяю – все верно: на одной полке 9 книг, на другой 15, ответ 24. Ребенок, уже в голос рыдая: «Ответ не может быть 24, потому что – внимание! – мы еще не выходим за пределы двух десятков! Я неправильно решила, пойду еще думать». Убиться об стену. Час отчаянных усилий на то, чтобы ребенок все-таки сделал вывод, что верить надо себе, своему разуму, а не непонятным рамкам, которые сами же составители учебника по невнимательности нарушили. А если бы не пришла?

Слушайте, я честно не понимаю, зачем это? Зачем вытаптывать все, что в это время бурно растет, и старательно возделывать то, что расти еще не должно и не может? Как в известной сказке про дуру-принцессу, возжелавшую подснежников в декабре и испортившую всем праздник, и без подснежников обещавший быть веселым.

Почему нельзя просто подождать?

Вот 10–11 лет. Синтетичность мышления уступает место аналитичности. Просыпается страсть к коллекционированию, систематизации, классификации, наведению порядка, интерес к деталям, внимание не к связям, а к различиям и противопоставлениям. Так давайте! Вот сейчас давайте и объясним про четыре клеточки и про аккуратное ведение дневника – пойдет как по маслу. Раз, два – и все всё поняли. И отворачивания еще не получили к самому процессу, с удовольствием, с азартом – кто лучше победит хаос и создаст порядок? Теперь это соответствует возрасту, этого просит душа, это будет в самый раз! Зачем тратить на это часы и нервы, когда это не в масть, не вовремя, некстати? Зачем ломиться в дверь, которая еще закрыта и которая сама в свое время обязательно откроется?

Это ведь все вроде описано в возрастной психологии и даже в педвузах изучается. Ну, или, по крайней мере, видно просто при наблюдении за детьми, при работе с ними. Конечно, конкретные дети могут быть со своими особенностями, но общие тенденции все равно в этом примерно русле.

Почему особенности возраста игнорируются? Мне кажется, причина – как раз вот этот страх: «Если сразу (не) приучишь, то...». Восприятие ребенка как неживого, несубъектного,

неразвивающегося, не стремящегося к лучшему и большему. Маниакальная уверенность взрослых, что детей именно они воспитывают и формируют, и надо все предусмотреть, заложить хорошее, заблаговременно пресечь плохое. В результате ребенок, к которому относились как к объекту применения воспитательных усилий, к подростковому возрасту нередко и становится объектом, почти неодушевленным предметом, который «ничего не хочет». Лежит на диване и щелкает пультом. Это бывает у детей, выросших в казенном доме, которым все время указывали, что им делать и когда, и, как ни странно, у детей тех родителей, которые «посвятили им жизнь» и всегда «знали, как надо». Потому что все, чего ребенок когда-либо хотел, было «не то и не так», а все, чего, по мнению взрослых, ему следовало хотеть (и иногда он даже делал вид), ничего не давало его уму и сердцу, это ведь они хотели, а не он. Ну, и отхотели все. И самих взрослых все это делает глубоко несчастными, они убиваются из-за двоек и троек, из-за неаккуратного дневника, а потом – из-за того, что «ему ничего не интересно», и «он не желает ходить в школу».

22 марта 2010 г.

Честно говоря, не ожидала такой бурной реакции на пост про потребности возраста, точнее, реакция была на часть про школу. Ну и наболело у народа! Впрочем, у меня тоже.

Многие спрашивают – а что делать-то? Кто-то растерянно, а кто-то (учителя в основном) и агрессивно. Приводят аргументы – проверки, планы и т. д. Кто-то разводит руками и говорит – ничего невозможно сделать. Кто-то кроет школу как таковую последними словами. Кто-то пишет, мол, учителя все уроды.

Думаю, нет простого ответа на вопрос: «что делать?»

По-другому возможно, это я точно знаю, и видела много раз учителей, которые по-другому умеют. Все очень по-разному, но никто и не говорил, что есть один правильный вариант. Просто дети у них не гаснут, а расцветают, и навыками владеют не хуже прочих, потому что навыки были отработаны не как самоцель, а в процессе осмысленной и интересной деятельности. Навык – это же средство. Представьте себе, что дети учились бы прыгать, не играя в классики и «три-пятнадцать», а так, как в школе учат счету: прыгни десять раз вперед на шаг. Так. Повтори. Нет, на одной ножке не прыгай, это в следующей четверти. Дома – еще пять раз, и чтобы точно так же!

Есть учителя, которые умеют иначе, есть. Одна проблема. Из всех, кого я знаю (а я много знаю), в школе до сих пор работают

единицы. Из этих единиц кто-то вернулся в школу после долгого перерыва со словами «насколько меня хватит». Потому что к детям очень тянет. И зарплаты сейчас вроде ничего, в Москве, по крайней мере. Но вся эта система отчетов, планов, проверок, журналов убивает. В 1990-х годах на время поотпустило, сейчас все закручено по новой.

Понимаете, дети очень терпимы. Они многое-многое готовы понять и простить. Кроме одного – безжизненности, скуки, равнодушия.

Например, у моего старшего учительница была жутко темпераментная. Просто караул. Она орала все время, вспыхивала, как порох, носилась по классу, могла наказать, не разобравшись. Но дети ее любили, потому что ей было страстно интересно с ними. Она устраивала дискуссии по задачкам из Петерсон, она сама прыгала до потолка, когда они решали что-нибудь особо трудное, она побуждала их думать, говорить, спорить. И ей все прощали. Хотя на почерке она тоже была повернута просто. У нас до сих пор дома ходит патетическое выражение: «Где твой наклон?!» Просто она это так страстно писала, что, казалось, бумага дымится под строчкой.

Очень мало людей, которые, сохранив интерес к жизни, способны стоически выносить бюрократию и формализм. Это истощает хуже любой работы на две ставки.

И еще: если в сегодняшней школе ты один такой, готовый пойти за детьми и их потребностями, ты обречен на провал. Потому что дети приходят к тебе с других уроков, где они были подавлены и загнаны в жесткие рамки. И попав в другую среду, они сначала вырываются, «как швепс из бутылки» (это сами дети мне такое сравнение как-то привели, извиняясь за свое поведение). И просто не могут ничего делать, пока не сбросят напряжение. А там и пол-урока прошло. Ведь в этих условиях дети и в самом деле становятся неадекватными, неуправляемыми.

Помню свое впечатление: пришла я как-то в Столичную гимназию, к знакомой учительнице. Пришла на перемене. Сначала чувствую – что-то не то. Необычно как-то. Потом осознала – дети не орут. Играют, болтают, яблоки грызут, но как-то спокойно. Передо мной столпился класс, седьмой примерно, обычно самые неуправляемые. Идет педагог, ей пройти надо, а они стоят. Она, не повышая голоса, легко: «Ребята, дайте-ка», – они мгновенно расступились. В школе! На перемене! Не пришлось ни гаркать, ни металл в голос добавлять, они услышали СРАЗУ! Кто знает, тот поймет, о чем я.

Потом я побывала на уроке, мне стало все ясно. Дети на уроке общаются между собой, встают, свободно дискутируют с

учителем, такой ровный гул стоит. Учитель часто шутит, не заморачивается дисциплиной, на первый взгляд, совершенно, да и не до того ему – работа, содержание, тема важнее. Всех называет по имени или даже ласкательно. Дети не зажатые, и потому не превращаются в швец. Зачем им на перемене орать и бегать с вытаращенными глазами? Они и на следующем уроке будут адекватны и настроены на работу.

Это давно было, не знаю, как там сейчас. Надеюсь, все хорошо.

В общем, по-другому может быть только в комплексе. Хотя бы в масштабах отдельно взятой школы. Но и школы такие редкость, потому что очень трудно создать, а еще труднее – выжить. В госструктурах – полная зависимость от начальства, можно положить жизнь, создать свой мир, а потом сменится начальник департамента и вышвырнет в один день, потому что лично ты ему не понравишься. Частную школу создать очень сложно, льгот никаких вообще, а контроля – немерено, причем все больше идиотски-формального.

Родители хотят подготовки к ЕГЭ с первого класса, чтобы при этом дети учились с удовольствием, а еще хотят уютных интерьеров и диетических обедов. Проверки СЭС и пожарных запрещают ковры «на путях следования при эвакуации», детские рисунки на стенах и требуют обжаривать колбасу. Вписаться между этими Сциллой и Харибдой почти невозможно.

Ну, а главное – критерии оценки «хорошего» образования в обществе очень искажены. Например, такой параметр, как желание ребенка учиться, интересуется только родителей, да и то «продвинутых». Учитель же может заявить первоклассникам: «Не хотите идти в школу утром? А вы думаете, я хочу? Я тоже не хочу! Но иду же! Есть слово НАДО!» (к сожалению, тоже цитата).

Понимаете, есть такая дисциплина: методы обучения взрослых. Учат тренеров, ведущих семинаров, курсов повышения квалификации и т. д. Я вот тоже в свое время училась, а сейчас учу. Родилась эта дисциплина по одной простой причине: все понимают, что взрослого учиться не заставишь. Нужно сделать так, чтобы он сам захотел. Чтобы ему было интересно, чтобы он видел в этом смысл. Чтобы действительно усваивал, а не «в одно ухо влетело». Все это абсолютно реально. Делается каждый божий день сотнями тысяч людей.

Но для взрослых. А для детей нет, потому что есть иллюзия, что их-то можно заставить, и проще заставить. А если не заставляются – написать в дневник родителям: «Примите меры!».

Но это не более чем иллюзия. Очередной дорогостоящий самообман. Потому что результаты – фиговые. Сколько бы при

обсуждении прошлого поста ни звучало гневных вскриков про то, что НУЖНО навыки отрабатывать, и ребенок ДОЛЖЕН – все это слова. Навыки-то ни к черту, если честно. Столько часов на все это повторение, отработку, заучивание правил, все эти «вставь пропущенные буквы», а дети толком не могут ни считать осмысленно, ни писать грамотно. 80 % учеников, в том числе отличники и хорошисты, не способны решить задачу, если не знают «по какой это теме». Через три месяца после того, как написали по этой самой теме контрольную на хорошую оценку. Мой муж, когда брал восьмой класс по физике, всегда тратил первую четверть на то, чтобы просто научить их считать. С нуля. Потому что дети могли только тупо выполнять затверженный алгоритм, не понимая ни состав числа, ни логику вычислений. Да что там говорить, посмотрите хотя бы на результаты ЕГЭ.

Давайте самим себе не врать, не работает все это на практике. Пора отдать себе отчет, что способов заставить советских времен сильно поуменилось. А теперь вот родителям еще каждый день по телеку стали говорить, что ремнем – ни-ни, так что можно будет оставить при себе все эти: «Примите меры!». И что делать будем? Может, пора перестать защищать честь мундира и подумать вместе о том, что можно сделать по-другому?

25 марта 2010 г.

Нешуточный холивар разгорелся, однако, из-за четырех клеточек!

На самом деле, конечно, не в клеточках дело. И даже не только в учете особенностей возраста.

Просто мне все время удивительно, насколько школьная практика (не только школьная, конечно) не соотносится с какими-то очень полезными добытыми «большой» наукой сведениями. Ну, вот представьте себе, что физики, например, открыли наконец удобную в применении сверхпроводимость, а энергетики плевать на это хотели, и продолжают себе по медным проводам ток гнать. Когда им говорят: «Ребята, так ведь вот такая возможность», – а они в ответ: «200 лет так делали, и дальше будем, это классический подход, проверенный временем, по-другому не бывает в принципе, и вообще у нас большой стаж, нам и так работать трудно».

Немыслимо, правда? А в социальных институтах все именно так. Хотя убытки от неэффективной школы стократ превышают убытки от неэффективной системы передачи энергии.

Простой пример: способности. Конечно, нельзя сказать, что с

этим все ясно и все хорошо изучено – тема сложная. Но уже известно, например, что одни способности в большей мере определены генетически, и развить их если можно, то лишь в некоторой степени, а другие, наоборот, очень зависят от того, развивают ли их в детстве. Как вы думаете, способности к рисованию и способности к решению задач школьного типа (не творческих, алгоритмических) – какие к какому типу относятся?

Парадокс, но в реальности все не так, как принято думать. Если с ребенком правильно, не занудно заниматься рисованием, 90 % детей будут очень прилично рисовать. А вот способность к решению алгоритмических задач (именно ее измеряют пресловутые тесты интеллекта IQ) во многом врожденная. И она довольно слабо меняется на протяжении жизни и не зависит от того, занимался ребенок много или мало, хорошо или плохо. Нужно, конечно, хотя бы научить эти задачи решать, иначе не узнаешь, есть ли вообще способности, но вот если и при хорошем объяснении это дается тяжело, бесполезно решать в 100 раз больше. Будет чуть лучше, да. Но ненамного.

Напротив, такое качество мышления, как креативность (творчество, изобретательность, способность находить нестандартные ходы) очень даже хорошо развивается, прямо на глазах, если ребенка стимулировать, ставить в ситуации поиска, погружать в интересную, сложную среду.

Что касается третьей составляющей «умности» – познавательной активности, любознательности, способности ставить задачи, то она вообще определяется средой, условиями, воспитанием процентов на 90 %. Если ребенку плохо, страшно, одиноко, если его жизнь слишком скучна, размерена, регламентирована «сверху», или, того хуже, если он живет в ситуации насилия, прессинга, физически страдает (от голода, боли), эти способности замирают и не развиваются, причем иногда их не удастся полностью восстановить даже после прекращения негативного воздействия.

А теперь подумаем, что у нас на практике. Итак, три составляющих «общей умности»: интеллект, креативность, познавательная активность. Измеряются разными методиками, по-разному развиваются, в разной степени определяются соотношением «среда-гены». Что с ними происходит?

Те способности, которые прекрасно поддаются развитию (особенно в возрасте 7—11 лет) – творческие, художественные, музыкальные, – школой практически не востребованы. Их развивают либо особо подорванные родители, либо если уж они так выражены, что слепой не заметит. Развивают все равно по остаточному принципу – если остается время от школы и от

уроков. (Напомню, что не всякие занятия в музыкальной или художественной школе развивают способности, все очень зависит от учителя и методики, иногда это просто натаскивание, и ничего больше.) Олимпиады считаются уделом избранных, задачи «на смекалку», застенчиво обозначенные звездочкой в конце параграфа, тоже предлагают только тем, кто «уже все сделал». Развивающие игры на уроке появляются только для комиссии, а из детской субкультуры они катастрофически быстро исчезают, потому что у детей просто нет времени и возможностей для долгих игр в своей компании.

Те способности, которые довольно мало поддаются развитию, развиваем денно и нощно, через «не хочу» и слезы, удваивая, утраивая количество бесплодных усилий. К сожалению, даже не вполне бесплодных, поскольку их плоды – астенизация (истощение) и стойкая ненависть к самому процессу. Дети, от природы к этому способные, решают с интересом первые два-три задания, а потом по принципу «скорей бы отвязаться» еще десять однотипных, не получая при этом ровно ничего к уже полученному. Дети неспособные мучаются почти в равной степени и над первым, и над десятым.

Особенно жалко детей-дисграфиков, которых заставляют переписывать, «чтобы не было ошибок», и у которых с каждым переписыванием нарастает количество ошибок и масштаб отчаяния. Впрочем, детей с врожденной грамотностью, которым приходится восстанавливать алгоритм «от обратного», то есть мучительно притягивать за уши объяснение, почему они написали так, как написали, тоже жалко.

Кстати, алгоритмически неспособными иногда оказываются как раз талантливые, незаурядно одаренные дети. Уже неудобно лишний раз вспоминать Пушкина и его «два» по математике, но из песни слова не выкинешь. Даже Эйнштейн в прусской начальной школе, построенной на зубрежке и алгоритмическом натаскивании, считался слабым учеником. А уж дисграфики вообще часто бывают весьма способными, и практически без шансов на высшее образование. (Только, пожалуйста, не надо сразу думать, что любой ребенок, у которого не идет математика, интеллектуально неодаренный – или Пушкин. Все-таки чаще всего причина в том, что он не понял суть той или иной темы, что за формой алгоритма не видит его смысла. Тогда ему нужно разобраться, а не решить еще сто задач по образцу, так ничего и не понимая и мучительно пытаясь угадать, какую цифирку в какое место формулы вставить.)

Наконец, те способности, которые, как нежные цветы, зависят в первую очередь от среды, мы погружаем в среду, мягко говоря, к

ним неласковую. Страх неудачи, карающий красный цвет, нередко прямое эмоциональное насилие: крик, оскорбления, угрозы, шантаж, скука, алгоритмы, убивающие интерес, запрет на свободную мысль, свободное высказывание, на сомнение, на самостоятельный поиск. «А теперь, дети, раскрашиваем петуха на 37 странице. Ваня, какой у петуха должен быть гребешок? Правильно, красный. Все слышали, дети? Берем красный карандаш и закрашиваем аккуратно гребешок». Да если еще и родители на оценках повернуты... Можно проститься с познавательной активностью вообще.

Ну, и? Что бы мы сказали о садовнике, которых ходит сапогами по нарциссам, но неустанно поливает камни?

Что-то меня тянет на цветоводческие ассоциации – то подснежники, то нарциссы... Весна! И каникулы, что отрадно...

На самом деле даже фиг бы с ними, с образованием и с развитием способностей. Меня как семейного психолога больше всего убивает, что это все встает между родителями и детьми. Что в жертву алгоритмическому Молоху приносятся отношения, доверие, близость. Во многих семьях делание уроков и скандалы вокруг них полностью сжирают вечера, а необходимость заставлять подростков делать то, что им ненавистно и тошно, порой полностью сжирает отношения. Приемный ребенок вообще рискует второй раз стать сиротой, потому что в процессе борьбы за «клеточки» привязанность не формируется, не может, да и просто не успевает. Вот что по-настоящему грустно-то.

Образование сделали обязательным и всеобщим, более того, результаты ребенка в процессе получения образования сделали едва ли не главным мерилom родительской состоятельности. А научиться учить детей так, чтобы им было интересно и полезно, забыли. И даже не хотят пробовать.

Образование наше в кризисе, это отрицать невозможно. Показатели наших школьников и студентов на независимых международных тестированиях стабильно плохи год от года. Больше половины обращений отчаявшихся родителей – про школу, про то, как детям и семьям от нее плохо. Имея множество друзей-учителей и проводя регулярно семинары для учителей, могу сказать, что им не лучше. Они чувствуют себя загнанными в угол, и многие собираются из школы уходить. Кризис налицо, надо бы что-то делать. Какие есть варианты?

Вариант первый. Государство осознает, что в будущем его будут кормить люди и их компетенции, а не углеводороды. И начинает заниматься образованием. В разы увеличивается бюджет. Модернизируются педвузы. Учителям платят высокую зарплату и принимают на работу по конкурсу. Их холят и лелеют,

обучают и переобучают, освобождают от лишних бумаг и мелочной опеки, вводят субботний год. Но профнепригодных безжалостно увольняют, никаких: «ей осталось два года до пенсии», – не за счет детей. Хорошие директора школ, которые уже доказали свою способность создавать, растить и развивать сильные педколлективы, ищутся хэдхантерами, им делают предложения, от которых невозможно отказаться, а потом сдувают пылинки, а не доводят до инфаркта. Школы превращают в современные прекрасно оборудованные образовательные центры, с бассейнами, стадионами, библиотеками, мастерскими, теплицами, живыми уголками, с игровыми для подвижных детей и местами уединения для детей-интровертов, с современными и чистыми туалетами и душевыми, с уютными школьными кафе, с обилием кружков и секций – словом, со всем возможным, чтобы дети комфортно, полезно и нескучно могли ошиваться в школе хоть с утра до ночи. Для детей с особыми потребностями чтобы было все предусмотрено: для ботанов – спецкурсы по матанализу и раннему Возрождению, для гиперактивных – тьюторы, комнаты разгрузки, для детей с опорно-двигательными нарушениями – лифты и подъемники, и т. д., и т. п. Да, и со школьными автобусами, которые бы забирали у дома и отвозили к дому. Причем таких школ чтобы не пара десятков в столицах, а по всей стране, в любой тьмутаракани, а где автобус не проедет – пусть будут школьные вездеходы. Или пусть будет общежитие для ночевки, если совсем далеко возить.

И тогда через десять лет упорной систематической работы и больших вложений начнет складываться сильная, перспективная система образования для всех. Конечно, будут проблемы, и протесты, и уволят кого-то зря, и наберут сначала не тех, и кучу денег потратят не на то. Это же государственный, социалистический вариант, а значит, будут стандарты, единые требования – со всеми вытекающими минусами. Но в общем и целом будет неплохо: приличный уровень для всех.

Фантастический вариант? Я ж не спорю. Не потому, что нет денег – я вас умоляю. Потому, что такое государство.

ОК, тогда есть другое предложение.

Вариант второй. Государство говорит: слушайте, сейчас не до вас и ваших детей. Отвалите. Nate вам минимум, по 200 тысяч в год на детское рыло, и делайте, что хотите. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих, а я, государство, руки умываю. Хотите – учите в школах, какие есть, хотите – свои делайте, хотите – дома занимайтесь. Мало школе денег – ну, пусть, как хочет, зарабатывает, если есть чем. Нам от вас ничего не надо, но и вы от нас выше минимума не требуйте. Образовательный ваучер

вам в зубы, и сами трепыхайтесь. Праволиберальный такой вариант. Частично имевший место в 1990-е.

Что будет? Будет разное. Где-то директор отдаст первый этаж школы под магаз. Какие-то пьющие родители махнут рукой и не поведут детей в школу вообще. Дети будут наглотать на уроках и пить пиво прямо на первой парте, учителя – массово уходить из государственных школ. Но.

При этом другой директор даст карт-бланш интересным педагогам, подберет команду и к нему будут ломиться люди со всего города, предлагая доплатить напрямую хорошему учителю (а государство умыло руки – ему все равно, хоть сметаной и яйцами приносите). Другие родители объединятся, скинутся и создадут свою небольшую частную школу на дому (а государству все равно, оно с проверкой не придет и всех не разгонит). Причем школа эта будет не особо дорогой – ведь государство с нее налоги не дерет, всяким СЭС и пожарным отстегивать не надо, снимать дорожные помещения «в соответствии со стандартами» тоже. А со временем какие-нибудь олигархи начнут создавать на свои деньги школы для способных детей из бедных семей. А еще со временем – и для не очень способных. Волонтеры будут учить детей мигрантов, а потом получают грант и станут школой. Или диаспора оценит и подарит им здание. А потом у какого-то олигарха родится ребенок с инвалидностью, и он поймет, ради чего всю жизнь работал, и создаст школы или оборудует имеющиеся для особых детей.

Будут школы с большим прибабахом, где будет урок дегустации дорогих вин и конной езды, но не будет физики. А в других будут диффуры в первом классе и 28 языков, а физкультуры не будет вовсе. Будут школы-дворцы для богатых, и школы в полуподвалах, но с домашней атмосферой, – и кого-то они вполне устроят. Словом, будет много разного – ужасные провалы, яркие взлеты, и в конце концов получится разномастная, неровная, но живая и интересная система образования, в которой постепенно будут создаваться школы «с традициями», а проблемы «бедных» школ станут предметом постоянного внимания общественности и благотворителей.

Тоже жить можно. Приличный уровень для всех очень не сразу получится, если вообще получится, и будет множество полуграмотных, но будут и возможности для тех, кто может и хочет учиться. А кому-то на самом деле и не надо больше, чем уметь читать-писать-считать, зачем заставлять?

Фантастический вариант? Конечно. Потому что единственное, что способно делать нынешнее государство – это контролировать. И контроль этот становится с каждым годом и

даже месяцем все более вездесущим и всеохватным.

Я не знаю, какой из вариантов лучше, споры между нашими правыми и левыми мне как-то давно стали скучны ввиду своей полной абстрактности. Потому что все последние годы мы имеем развивающийся по нарастающей *вариант третий*. Он, как вы могли догадаться, представляет из себя синтез первых двух, созданный по принципу «соединим минусы отовсюду». То есть денег не дадим, а контролировать будем – мама не горюй. Сами ничего не будем создавать и развивать, и вы не смейте. Учителям надо работать как велено, отчетов писать с каждым годом на порядок больше, а зарплатой обойдутся этой. На митинг идти велим – пусть идут без вопросов и с энтузиазмом. Субботний год у нас будет в виде российском и суверенном, как демократия: вы, так и быть, можете взять годовой отпуск без сохранения зарплаты раз в десять лет. Вы обойдетесь без библиотекарей, психологов и логопедов, но только попробуйте просто предоставить кабинет и пригласить специалиста, на которого скинутся сами родители, узнаем – уроем. Родителей вообще лучше в школу не пускать, от них одни проблемы. Мы будем централизованно привозить детям на обед дерьмовые полуфабрикаты, но только попробуйте отказаться и пригласить хорошую кухарку МарьИванну, чтобы пекла блинчики и варила супчики, – сядете лет на десять. Да какой там – хомячка в кабинете биологии не смейте заводить! Сядете, сядете, сядете!

Частные школы, кстати, создавать нельзя (практически невозможно) – неизвестно еще, чему вы там научите. У нас стандарты, ЕГЭ и отчетность.

Когда люди в ужасе говорят о разрушительности этого процесса, одни из них скорбят по государственнической модели времен СССР – со своими минусами, но дававшей стабильно приличный средний уровень. Благодаря которому у нас до сих пор все не накрылось медным тазом, потому что пока много крепких достаточно образованных профессионалов в возрасте от 40 до 60, на которых все держится.

Другие горюют по вольнице 1990-х, когда массовая школа деградировала, но при этом на коленке и за копейки создавались прекрасные, живые и яркие школы, которые могли бы со временем развиться в бренды на века и стать образцом для других школ. Благодаря этому периоду у нас все еще есть надежда на будущее, на то, что здесь что-то может создаваться и строиться, на новые идеи и новые отношения. Очень многие из поколения 30—20-летних – все эти независимые наблюдатели, «оккупайцы», создатели волонтерских движений, авторы оригинальных бизнес-идей – выпускники как раз тех свободных и

«с прибабахом» школ последнего двадцатилетия. А многие вообще самообразованцы, учились где угодно, но не в школе, и знают столько всего, что только диву даешься.

Сейчас есть еще остатки и того, и другого, выжившие и выстоявшие разными способами. Все идет к тому, что скоро не будет. Останется только «жи-ши» пишем с буквой И.

Честное слово, в этой ситуации вцепляться друг другу в глотку на тему «что именно мы потеряли» и «как бы мы хотели» довольно странно. Мы потеряли – теряем – и то, и другое. И как бы мы хотели, нас не спрашивают – никого из нас. Консенсус. Не о чем спорить.

Про Макаренко, или коллективное воспитание

4 мая 2010 г.

В советские времена Макаренко был для Системы вождь и учитель. Везде висели его портреты, цитаты, копировались какие-то атрибуты типа общего собрания, дежурств, флагов, горнов и пр. А я, надо сказать, в детстве очень любила «Педагогическую поэму», наизусть прямо знала. И когда все это «следование заветам Макаренко» в подшефном детском доме наблюдала, сильно ежилась, ибо это было похоже на недобрый и совсем не дружеский шарж. Тогда, конечно, я не могла все это толком сформулировать, просто осталось как вопрос.

Ну, и сейчас на опыт Макаренко постоянно ссылаются апологеты Системы, мол, вот что такое коллективное воспитание и какие были результаты. Да только чего-то нет сейчас таких результатов. Я даже не про выпускников, хотя и про это тоже, а про сам дух детского учреждения, который у Макаренко был бодрый и радостный, а у нынешних – тоскливо-обреченный.

Первое откровение пришло, когда я стала работать в семейном устройстве и понемногу понимать, что происходит с ребенком, оставшемся без семьи и попавшем в учреждение. Вдруг я подумала: у него-то, у Макаренко, дети были совсем другие. Самые младшие из его воспитанников – «малыши» – это подростки 13–14 лет. Большинству 15–17, кому и все 19. Отсчитываем назад несколько лет беспризорности – три, ну, пять. Это значит, что до 9–14 лет это были обычные дети, жили с мамой и папой, дома. Осиротила их гражданская война, тиф, голод – словом, стихийные бедствия. Отцы не били их спяну и не насиловали, матери от них не отказывались, младенчество в доме ребенка, госпитализм, расстройство привязанностей, энцефалопатия, фетальный алкогольный синдром и прочие «прелести» к ним не имели никакого отношения. Здоровые, нормальные пацаны, только вшивые и матом ругаются. Так и сейчас вам любой воспитатель детского дома скажет – если ребенок попадает к ним после 9–10 лет и в семье ничего ужасного не было, это будет золотой ребенок. Да, ему будет плохо, но потом он сможет найти опору, как-то пережить, перетерпеть, и вырастет вполне жизнеспособным и хорошим человеком.

Идея «сжечь прошлое», так любимая Макаренко, который

принципиально не читал личные истории детей и запрещал спрашивать своих воспитанников о прошлом, тоже из другой жизни. Сжечь вместе с завшивленными лохмотьями годы беспризорности, скитаний, одиночества, страха – вполне себе грамотно с психологической точки зрения. Так некоторые дети, попав в семью, сжигают или рвут детдомовские фотографии, и вообще не хотят вспоминать, что они там были. Обратите внимание, нигде у Макаренко не идет речи о том, чтобы «сжечь» воспоминания о семье. Они у детей были и служили внутренним ресурсом, давая силы, а не истощая. У наших сирот воспоминания о семье бывают очень разные. И их не «сожжешь» просто так, не забудешь, это не то, что с тобой «случилось», – это твоя семья, часть самого тебя.

Травму беспризорности можно вылечить красивой, чистой, разумно построенной жизнью. Жизнь, организованная Макаренко, была хорошим противоядием хаосу, грязи, незащитности и безответственности бродяжьей жизни. Неудивительно, что дети в общем и целом с благодарностью принимали этот шанс «вернуться в колею» и довольно быстро адаптировались.

Излечить семейную травму нельзя никаким коллективом. Если «не читать истории» современных сирот, поведение и состояние ребенка будут просто непостижимы, и работать с ним будет невозможно. Макаренко мог питать иллюзии на этот счет по одной простой причине – детей с семейной травмой, с искаленной привязанностью среди его воспитанников практически не было.

В состоянии острого горя дети к Макаренко тоже не попадали, обычно они теряли семью задолго до помещения в колонию. В книге Фриды Вигдоровой «Черниговки» про ученика Макаренко Семена Калабалина (Карабанова в книжке) очень интересно описано, как в 1930-х годах стали поступать дети, только что оторванные от родителей (раскулачивание, репрессии – конечно, в книге прямо о причинах не говорится). И педагоги, столкнувшись с детьми в состоянии острого горя, были в растерянности, опыт Макаренко им тут ничем помочь не мог, помогала интуиция и обычная бабская жалость. Если судить по книге, интуиции и любви к детям хватало, чтобы тупо не воспроизводить традиции и не заставлять бросать в костер вещи, на которых была маминой рукой сделана штопка «любовно подобранными в цвет нитками». Надеюсь, и в жизни так было, хотя уверенности нет. Нынче сильно немолодой уже Антон Семенович Калабалин, последователь дела отца и названного деда (в книжке маленький Тосик), производит, надо сказать,

тяжелое впечатление. С большим пафосом говорит, что он еще не отдал из своего детского дома в семью ни одного ребенка, и не собирается, и что все это семейное устройство – блажь. Сам, между прочим, вырос с мамой и папой, в отдельной квартире, а не в группе. Наверное, от этого у него и сформировалось идеализированное мнение о детском доме как образе жизни. Плохо ли: и теплая мама под боком, и товарищей куча прямо во дворе. Директорский ребенок, да еще малыш, – часто любимец воспитанников.

В принципе, всего этого уже достаточно, чтобы сделать вывод, что идеи и практика Макаренко и нынешняя система сиротских учреждений – две разные планеты от слова «совсем», и вешай – не вешай портреты, ничем нам этот интересный и талантливый педагог не поможет.

Но с этим самым коллективным воспитанием все еще сложнее.

Очень часто его противопоставляют семейному. Типа, или ребенку в семье расти, или в коллективе, и как лучше. И часто сторонники семейного устройства используют само выражение «коллективное воспитание» как ругательное. А их оппоненты, наоборот, как хвалительное, и страшно гордятся – мол, у нас как у Макаренко, а у него было круто. Давайте наведем резкость.

Другой пламенный человек, Юлиус Фучик, писал в своем «Репортаже с петлей на шее», не поручусь за дословность цитаты, но примерно так: один коммунист – это просто человек. А два коммуниста – это уже коллектив, это сила, сломить которую очень трудно, и пусть гестапо не надеется.

Кстати, абсолютно правильно сказано. Только зря приписывал это свойство исключительно коммунистам. Все точно так же работает в случае с антикоммунистами (проверено на опыте истории), любыми другими «истами», и не «истами» тоже. Страшная сила, да. Собственно, про это пресловутая притча про веник, который тщетно ломали бедные братья по велению папы. Ибо если не двое, а больше – так вообще. Начнешь ломать – обломаешься.

Но вот вопрос: что именно называть коллективом? Любая ли группа людей – коллектив? Достаточно ли собрать много детей вместе, чтобы это стало «коллективным воспитанием»?

И вот тут все оказывается, как обычно, «с точностью до наоборот». Коллектив – это не просто люди, собранные или случайно оказавшиеся в одно время в одном месте. Это группа, объединенная общей целью, способная к самоорганизации и саморегуляции, к осознанному целеполаганию и достижению поставленных целей. Цели могут быть благие или нет, но если

нет общей цели (множества целей), которую нужно достичь именно собственными усилиями, это не коллектив.

Далее. Коллектив – это группа, которая имеет внутреннюю структуру и четкие внешние границы, и не допускает управления ее отдельными членами извне, минуя эти границы. То есть любая внешняя сила, которая попыталась бы воздействовать на отдельного человека, входящего в коллектив, огребла бы сопротивление, стократ превышающее возможности этого самого человека. И силе пришлось бы иметь дело с группой в целом, хочет она этого или нет. Собственно, именно в этом свойстве коллектива и состоит причина неудачи, которую Фучик предрекал гестапо. (Оборотная сторона этого – сила группового давления на самого человека. Коллектив дает защиту от внешнего воздействия, но и против норм и ценностей самого коллектива не очень попершь. Это вообще очень важное обстоятельство, но о нем чуть позже.)

А теперь скажите мне, люди добрые, ну, какой коллектив и какое коллективное воспитание могли быть при совке (*то есть при советской власти – да, я знаю, что сейчас так не говорят – Л.П.*)? Да кто ж это допустил бы? Чтобы они, значит, границы установили, и ни-ни, не покомандуй каждым напрямую? Вы чего?

Принципиальная установка совка – атомизация общества. Чтобы каждый, один и голый, предстоял перед мощью государства в лице неважно чего – школьного учителя или парторганизации. Собственно, и семья в тоталитарных обществах всегда под прицелом и подозрением, потому что семья – это прежде всего границы, а границы – как красная тряпка для быка. Никаких горизонтальных связей, вертикаль везде и во всем. Чтобы все всех сдавали, никто никому не доверял, чтобы отчет всегда напрямую перед начальством, а больше трех не собираться, если это не пионерский сбор.

Цели они будут сами себе полагать! Разбежались! Кто их знает, что за цели это будут? Нет, все нужно заблаговременно возглавить, все группы должны формироваться сверху и принудительно, цели им тоже должны спускаться сверху, а назвать все это дело «коллективом», чтобы никто не догадался, – ну, это известная технология. Сломать живую общину, сделать ее муляж – колхоз. Долго ли умеючи. (В этом, кстати, отличие совка от, скажем, николаевской России, когда все живое тоже закатывалось в асфальт, или что там у них было, но муляжи тонкого уровня создавать еще не умели. Ограничивались тупой показухой и всяко-разными поручиками Кижее.)

Даже и у Макаренко коллективное воспитание просуществовало недолго. Товарищи из ЧК быстро довольно

просекли, чем тут дело пахнет, и приняли меры. Сначала ему пришлось оставить колонию, а потом и коммуны Дзержинского. И светила ему Лубянка по полной программе, но Бог над человеком сжалился – Макаренко умер от сердечного приступа в электричке, когда ехал в Москву по срочному требованию начальства. А на перроне его уже ждали, чтобы арестовать. Получили труп.

А ведь у Макаренко как раз были все признаки настоящего коллектива. Дети сами принимали решения. Они сами распоряжались деньгами. Они могли не согласиться с мнением заведующего (самого Макаренко).

С целеполаганием тоже все было в порядке. Сами работали, и не какие-то там поделки в воспитательных целях мастерили, а пахали не по-детски – занимались сельским хозяйством в колонии, а потом аж завод построили и фотоаппараты делали. При этом менеджмент тоже был за ними – и в работе, и в организации быта и развлечений. Потому что от государства им полагался самый мизер, для скучного прозябания впроголодь. И они знали: если хотят жить красиво и интересно, надо впахивать. И, кстати, вовсе не возражали.

Теперь что у нас. В 1980-е годы, даже в начале 1990-х, еще можно было найти детский дом или интернат со своим приусадебным хозяйством и мастерскими. Потом вдруг оказалось, что это – эксплуатация детского труда. Все практически запретили и закрыли. Зато куча кружков. Бисероплетение. Дети лезут на стенку и нюхают морилку. А кто бы на их месте не нюхал?

Самоуправление. Что дети могут сами решить про свою жизнь в интернате? Ответ: ничего. Вообще. Даже будут ли они футбол смотреть вечером в субботу, решает воспитатель. Когда-то игрались во всякие «детсоветы», сейчас и играть перестали. Может, и лучше, хотя бы все честно: казарма и есть казарма.

Помню я это «общее собрание» в том самом подшефном ташкентском детдоме. Все по канону. Все собрались в круг. Провинившихся вызвали «на середину». И тут выходит директор и начинает их ругая ругать. Те бедолаги стоят, изображая всем видом стыд и раскаяние. Вокруг народ скучает и ждет, когда все кончится. Но так просто не отвязаться – директор заставляет «массовку» три раза крикнуть: «позор». Чтобы коллективно воздействовать. Как завещал Макаренко.

Кто-то все еще будет настаивать на противопоставлении семейного устройства и «коллективного воспитания»? Невозможно противопоставлять то, что есть, тому, чего нет. Так что вопрос можно снять с повестки дня.

Но и это еще не все.

Я-то как раз думаю, что коллективное воспитание детям жизненно необходимо, и вовсе не только сиротам. Особенно в подростковом и предподростковом возрасте.

Просто такова задача развития. Лет до 10–12 для ребенка его миром является семья. Самыми значимыми людьми – родные. Они же авторитеты. Потом ему становится пора переориентироваться на группу сверстников, это просто необходимый этап взросления и подготовки к жизни.

В архаичных обществах дети этого возраста уводились из семей, они жили вдали от поселения племени, в глуши, в так называемых «лесных домах», девочки и мальчики отдельно. С ними занимались жрецы – самые лучшие, самые мудрые люди племени – учили ритуалам, охоте, и всякому еще нужному. Традиция «лесных домов» получила отражение во многих волшебных сказках, самая известная у нас – переложенная Пушкиным «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях».

Период обучения в лесном доме был частью процесса инициации, перехода из детства во взрослость. Поскольку считалось, что при этом ребенок умирает, а на свет появляется совсем другой человек – взрослый, то все время прохождения обучения и обряда дети находились как бы «в другом мире», в мире мертвых, в мире предков. Их не должны были видеть другие члены племени, они не могли есть обычную пищу. Держали их довольно строго, если не сказать сурово. Многие обычаи более поздних времен, например, спартанские, восходят как раз к инициационным практикам. Бывало, что и до смерти «заучивали», если не рассчитывали силу воздействия. Дедовщина, конечно, имела место, и была нормой. Она воспринималась не как унижение, а просто как естественное проявление внутригрупповой иерархии, как испытание мужества и воли. У девочек свои испытания были, скорее на терпение и выносливость.

В наше время гуманистических ценностей и прав человека детям все равно это нужно. Ну, не прямо ровно это, но что-то вроде. Чтобы группа, чтобы тайна, чтобы вдали от обычных взрослых, но во главе с необычным, чтобы страшно и трудно, и чтобы преодолевать себя. Чтобы один за всех и все за одного, и общее дело, и все мы братья (жители лесных домов так и назывались – «братьями»). И символика, и ритуалы, и точная грань между «своими» и «чужими».

Кто умеет это в подростках увидеть и с этой потребностью работать, у того с ними получается. Хоть «Тимура и его команду» вспомнить, хоть коммунаров 1960-х годов, хоть Крапивина, хоть – из современных – «Гвардию тревоги» Мурашовой. У Макаренко

этого много было – от довольно высокого уровня насилия внутри коллектива до запрета на «романтические отношения» (все девочки – сестры, как в сказке – «стань нам милою сестрою»). Ну, и ритуалы, конечно, хитроумные правила, форма, внутренняя иерархия. Самое то.

Это нужно, это заложено природой, это потребность возраста, без этого дети задыхаются. Всякий, кто работал в школе, знает, как тяжело иметь дело с 7–9 классами. Особенно с мальчиками. Все время не оставляет ощущение, что им не надо здесь быть. Они должны быть там, в лесу, в пампасах. Прыгать, бегать, драться, испытывать себя. Не нужен им учебный план, и ЕГЭ, и все вот это. И кто-то еще удивляется, что они срывают уроки? Девочкам легче – пребывание в школе вообще очень похоже на те инициационные испытания, которые предназначались девочкам. Терпение, неподвижность, молчание, безоговорочная покорность. А еще надо было все менструальные дни просидеть в крохотном шалашике, ни с кем не говорить, не шевелиться, ни на кого не смотреть. Чем не дисциплина на уроке? Так что они, можно сказать, свое получают.

А когда какие-то способы реализации перекрыты, потребность всегда находит выход в изуродованных формах. И мы получаем «Чучело», скинхедов, бешеных фанатов и много еще чего малоприятного.

Дети все равно объединяются, но это никто не называет «коллективом», потому что выглядит не комильфо. А по сути это и есть коллектив, только злой, объединенный негативной целью и не облагороженный присутствием мудрого жреца. А то и манипулируемый втихаря каким-нибудь «жрецом», цель которого – не помочь детям вырасти, а поюзать их молодую силу и безбашенность.

Проходит время, потребность реализуется – лучше ли, хуже ли, позитивно ли, негативно. Наступает юность. Принадлежать группе больше не хочется. Хочется быть взрослым, индивидуальностью. Можно и о ЕГЭ подумать. Если успел побыть подростком. Если нет, дети часто застревают в этой стадии «принадлежности другому миру», иногда лет до... до многих, в общем.

Коллективное воспитание – штука серьезная. Оно пугает, потому что сила действительно велика, а искусство управления этой силой похоже на виндсерфинг – надо оседлать волну. И именно потому его не особо приветствуют, предпочитая заблаговременно подменять суррогатами. Как это произошло, например, с тимуровским движением, которое из тайны превратилось в обязательку, из него сразу ушла энергия и оно

почило в бозе. Я уж молчу про всяких наших-ваших и прочих «пионэрах»...

Но даже если бы вдруг все захотели, чтобы оно было, не так-то это просто. Предки, напоминая, выделяли на эту работу лучших. Самых-самых. С харизмой, опытом, смелостью. И где ж их столько взять? Макаренками поле не засеяно. Отдельные инициативы такого плана все время возникают, сколько-то живут и гаснут, и это правильно. Они и должны быть временными – это же возрастная потребность, она изживается. Только должны быть условия, чтобы все время возникали новые. Для новых детей. С какими-то другими идеями, целями, ритуалами, лишь бы живые.

4 мая 2010 г.

Ну, и последний кусок про коллективное воспитание.

Отсутствие процедуры инициации и института «лесных домов», или чего-то подобного, отражается и на обычных семьях тоже. Подросток 13–16 лет, который рвется к самостоятельности, который жаждет «подвигов и атак», вынужден сидеть у маминой юбки и просить у папы столик на кино. Его могут отчитать, запретить гулять, чмокнуть в щеку без разрешения и вообще. Это ненормально. Как себя вести в этой ненормальной ситуации, не знают ни взрослые, ни дети. Постоянно происходят конфликты.

Потому что не дело молодому льву оставаться во власти родителей. У него начинается стресс и крышу сносит. Это опять-таки на глубинном уровне заложено. Взрослый самец, который защищал детеныша, может наброситься на подростка. Особенно если тот начинает «права качать» или свой половозрелый статус демонстрировать. Поэтому в природе подростки подальше держатся от взрослых самцов. А наш подросший детеныш вынужден не только находиться рядом, но и полностью зависеть от этого самого взрослого самца. Стресс неизбежен.

Взрослым не легче. Доказано, что один из самых неприятных запахов для человека – запах пота его собственного ребенка, достигшего половой зрелости. То есть майка чужого ребенка просто пахнет, а своего – невыносимо воняет. Это заложенный природой механизм предотвращения кровосмесительных связей. Очень хитро задумано. Только люди природу перехитрили и самозабвенно ругаются со своими детьми на тему «к тебе в комнату нельзя зайти, такой духан стоит». Вместо того, чтобы отпустить из дома, ибо – пора.

Конечно, люди могут быть добры и умны, и они все это по возможности смягчают и сглаживают, и мы все же не животные, нас гораздо большее с детьми связывает. Поэтому глотки не перегрызаем. Но нервы друг другу треплем. Кстати, в тех странах,

где принято в 15–16 лет отправлять детей из дома на учебу, скандалов между подростками и родителями намного меньше. К сожалению, далеко не все люди добры и умны, так что семейное насилие между родителями и подростками – очень и очень распространенное дело. Причем агрессором выступает то одна сторона, то другая. Про эмоциональное насилие и речи нет. Норма жизни.

Еще одно последствие отложенной сепарации (отделения) – ненормальная ответственность родителей за дела детей после 14–15 лет. Я всегда офигеваю, когда в школу вызывают родителей старшекласников. Вот что, по мнению школы, они должны сделать, чтобы Петя (1 м 85 см роста и усы) делал уроки? А с родителя спрашивают за успехи Пети, за поведение Пети, за здоровье Пети. Ничего нет хуже, чем находиться в ситуации, когда ты отвечаешь за что-то, но от тебя ничего не зависит. А потом удивляемся, почему родители подростков такие нервные...

У кого-то есть характер и харизма удерживать ребенка в подчинении несколько лишних лет. Вынесем за скобки, насколько это полезно для ребенка, но хоть так. У кого-то хватает коммуникативных талантов избегать резких конфликтов и договариваться, на полутонах, на сочувствии, так сказать, в память о недавней нежной любви между родителем и ребенком. У большинства – не получается. И родитель с подростком огребают несколько лет непонятных отношений, унижительных или для одного, или для другого. И неизвестно, что для ребенка хуже и мучительней – когда он сам «под каблуком», или когда он, не зная, что же делать, берет нахрапом верх над родителями и видит их отчаяние и слабость. Кстати, как писал тот же Макаренко, нет никого несчастнее ребенка, победившего собственных родителей. И тут он был прав.

Как было бы правильно?

Если приводить пример всем известный, то это, пожалуй, мир, созданный Роулинг. До 11 лет ребенок с родителями напихивается их любовью по самые уши. Потом письмо, Хогвартс. Родители – на каникулах. Учеба серьезная, таинственная, довольно опасная. Никто не делает переполоха из сломанной руки или спаленной брови. Нормальный процесс. Правила строгие. При этом свобода собраний и объединений. Иерархия. Традиции красивые и овеяны легендами. Опасная и жесткая игра в квидич. Азартное соревнование между коллективами (факультетами). Учителя – мудрые и вообще волшебники. Что еще надо для счастья? Конечно, при таком раскладе совершеннолетие может быть в 17 лет, дети вполне готовы. Кстати, волшебные родители эту дату свято чтут: стукнуло 17 –

лезть хоть к черту в пекло, мама будет глотать слезы, но не запретит.

Собственно, к подобной мысли приходили многие фантасты, те же Стругацкие. Но они предлагали коллективно воспитывать годовалых, пока родители бороздят просторы Вселенной. Без комментариев.

К сожалению, сейчас западная (и наша) цивилизация развивается совсем по другому сценарию. Возраст совершеннолетия все отодвигается, детей все более рьяно охраняют и оберегают, работать запрещено, одним гулять запрещено, набивать шишки запрещено. Они частично находят отдушину в неформальных объединениях, идут в протестные движения и жгут Макдональдсы. Частично капитулируют и сдаются, тупо сидя перед компом с пивом. Лишние люди. Онегин нервно курит в углу. Эти – гораздо лишнее.

Оговорка.

Все это, конечно, справедливо именно для семейных, вполне благополучных детей. Если у ребенка был опыт депривации, потери, амбивалентных отношений, есть особенности, все несколько иначе. Впрочем, согласно Роулинг, и для таких детей Хогвартс был спасением.

Говорить ли с детьми о тяжелом?

10 мая 2011 г.

За последний месяц довелось n-ное количество раз отвечать на вопросы, чаще всего журналистов, считаю ли я, что детям надо рассказывать о войне тяжелое: про смерть, мучения и т. д. Или пусть только радуются параду, салюту и говорят: «спасибо деду за Победу».

Мамы знакомые пишут про принудительное «просвещение», когда маленьким детям (начальная школа) показывают страшные кадры, фильмы, рассказывают ужасы.

Я вообще-то исхожу из того, что детям можно и нужно говорить про все. В свое время, когда мы делали «Энциклопедию для детей», так и ставили перед собой задачу – рассказать понятно и экологично про все абсолютно, без запретных тем. Поэтому в нашем томе «Психология» есть и про наркотики, и про аборты, и про сексуальные девиации, и про шизофрению, и про смерть, и про геноцид и концлагеря, и про карательную психиатрию – про все, про что только мы не забыли. Конечно, все упирается в «понятно и экологично».

Первое – вопрос скорее методический, это была отдельная огромная работа: понять самим и научить авторов (научиться вместе с ними), как можно любую тему сделать понятной и интересной. Но эту работу мы сделали, и даже основные принципы описали в отдельном документе. Жаль, что оно никому особо не нужно теперь.

А вот второе – более тонкая штука. Что значит «экологично»? Это даже не просто «чтобы ребенок не испугался» или «чтобы не узнал чего-то вредного», хотя и оно тоже. Чтобы не вызвало непосильных переживаний и неподъемных когнитивных диссонансов, не искажило развитие, не опередило ответом вопрос, не помешало становлению самостоятельного мировоззрения, да мильен всего. И поди разбери, что будет «чересчур», что «недостаточно», а что «в самый раз».

Сами по себе переживания, даже тяжелые, не есть зло. Я не считаю, что нужно любой ценой беречь ребенка от страдания и внушать ему, что мир – прекрасен и добр. Слезы, пролитые над «А зори здесь тихие», или ужас, испытанный при виде кадров из Освенцима, необходимы для развития души, и нет ничего страшного в том, что какое-то время после ребенок ходит подавленный или даже плохо спит. В жизни много боли, с ней придется справляться, что же делать. Другой вопрос, что кто-то

готов пережить и осознать это в 10 лет, а кто-то только в 18, и он имеет право расти так, как для него нормально. И еще другой вопрос – кто и как поможет ему справиться.

В общем, после многих лет про это думания я вот к чему пришла. Говорить можно и нужно про все. По силам ли и на благо ли это данному ребенку в данный момент его развития, мы знать не можем, будь мы хоть семи пядей во лбу и почти ясновидящие. Поэтому условие экологичности – не в самом материале, и не в конкретных характеристиках ребенка (возраст и т. п.), а, так сказать, в правилах игры.

Они, на мой взгляд, таковы:

1. Свобода знать или не знать, впускать в себя тяжелый материал или закрыться.

Поэтому одно дело книга, которую в любой момент можно просто отложить, или телевизор дома, который можно выключить, а другое – обязательный урок или просмотр фильма, с которого ребенок не может встать и уйти, сказав: я не готов, я не хочу сейчас, не надо. Только и может, бедный, что пытаться отвернуться или закрыть глаза ладошками.

2. Возможность для ребенка получить поддержку в этом переживании. Я водила дочку в Яд ва-Шем, это было тяжело, но я все время держала ее за руку. Вчера в ленте встретилась «Не стреляй!» Шевчука, я включила послушать, а дочка, оказывается, не слышала раньше и заплакала. Но я могла ее обнять и посидеть рядом, пока она плачет. Мы ничего не говорили, не обсуждали, она что-то внутри себя поняла и пережила, но не одна – я ее обнимала.

Поэтому одно дело, когда рядом человек, понимающий тебя без слов и готовый быть с тобой в тяжелом переживании, сам способный выносить это переживание. Это может быть родитель, учитель, автор фильма или книги, тут уже по ситуации. Другое – официальный формат, где твое переживание не заметят, не поддержат тебя, а то и посмеются, или начнут причитать: «что ж ты такой чувствительный?» (вариант – «бесчувственный», если ты не проявляешь чувств, а положено).

3. Право ребенка не быть средством в этом процессе.

Когда я говорю на такие темы со своим ребенком, или со своими учениками, или со своими читателями (детьми), я не имею права думать о воспитании патриотизма, о национальной идее, о подрастающем поколении и о всяком таком. Не имею права использовать чувства и страдания этого ребенка (детей) для того, чтобы добиться каких-то там великих или не великих целей. По сути, взрослый в этом процессе выступает в роли проводника в ад, а проводник должен думать прежде всего о том, кто ему

доверился, а не юзать его. Дети, кстати, это дело очень чувствуют, и на манипуляции отвечают цинизмом.

4. Сам взрослый должен глубоко пережить то, о чем он говорит. Не быть малодушным, не врать, не прятаться за лозунги, не подменять и не обесценивать страдание никакими «а зато» и никакими «потому что». Он должен в той или иной форме, ПРЕЖДЕ чем говорить с ребенком, продумать, прожить внутри себя вопрос Иова (не обязательно в религиозном смысле) – вопрос о том, как такое возможно в мире, как жить после такого и в чем же искать точку опоры. Взрослый должен обладать достаточным экзистенциальным мужеством, чтобы самому встречаться с такими вопросами и сопровождать в этой встрече ребенка. А иначе будет имитация.

Хотя нет, одно универсальное соображение про возраст все же есть: речь здесь идет о детях старше 7–8 лет. До этого возраста совершенно точно не надо про концлагеря и про блокаду. Только про Победу, про парад и про салют. Это конкретными психофизиологическими причинами обусловлено, не буду здесь подробно, дети до этого возраста не способны испытывать и выдерживать такие чувства, и не надо им. Впрочем, у нас, кажется, половина населения не способна, но это уже другой вопрос...

Какие из всего этого оргвыводы? Говорите с детьми об этом сами, пусть они переживут первое столкновение с такой правдой о мире и о людях в ваших объятиях. Но сначала – говорите об этом с собой.

А любителей их патриотически повоспитывать в соответствии с календарно-тематическим планом надо бить по рукам, или просто ограждать своего ребенка от официального «воспитания» (например, прогуливать – очень здравая мысль). Но если повезло, и учитель, который говорит с детьми, способен делать это правильно, если ребенок знает, что может потом опять-таки прийти к вам и найти у вас поддержку, – не надо бояться никаких тем и никакой правды. Что же делать, мы их вот в такой мир пригласили, другого у нас нету для них...

22 сентября 2011 г.

Мне кажется, важно попробовать сформулировать, почему я и некоторые коллеги так взвизываются от тренда «плохие родители». При том, что сами говорим и пишем о проблемах, ошибках, патологических моделях и жутких масштабах насилия над детьми, но на слово «вина» (и на стоящую за ним идеологию и практику, стремящуюся обвинить родителей, контролировать родителей, поучать родителей, обесценивать родителей) делаем нервную стойку.

Попробую собрать здесь в кучку соображения, почему этот тренд в деле защиты прав детей – аццкое зло.

Почему обвинять родителей вредно для самих родителей.

1. Когда нас обвиняют, мы обороняемся. Родители, склонные к жесткому обращению, это люди с очень поврежденным стержнем. При атаке на него они теряют даже те способности заботиться и понимать, которые у них есть (а есть они не очень). Что хорошо иллюстрируют некоторые рассказы о том, как выросшие дети попробовали предъявить родителям счет. И что из этого вышло. И сотрудники опеки могут много рассказать случаев, когда после вызова только начинающей спиваться мамы на КДН и «пропесочивания» там она уходит в затяжной запой. То есть и так дохленький родительский ресурс оказывается начисто перекрыт. Все силы уходят на защиту своего «я» тем или иным способом: ответной агрессией, отрицанием, уходом в забытие и т. д. Можно, конечно, начать теперь обвинять их уже в этом: почто не могут признать ошибки? О результате, думаю, сами догадываетесь. Нет, конечно, если цель – не сделать лучше ребенку, а потренироваться на прокурора, то можно.

При этом неважно, идет ли речь о заблаговременном просвещении, или о работе в кризисе, или о терапии, если нет этого поддерживающего месседжа, уважения, презумпции «хорошести», если есть осуждение и поучение, будет только хуже.

2. Ни один (ну, почти, кроме тех, кем занимается экспертиза в Сербского) родитель не рождает ребенка, чтобы его мучить. У «плохого» родителя всегда повреждена своя собственная привязанность, и поэтому он не может хорошо заботиться о ребенке. В результате ребенок становится «тяжелым», что еще больше ухудшает дело. Иногда, впрочем, не становится, а наоборот заяка и отличник, но родителю все равно непонятно, что с ним делать и как быть, и потому «тяжело». Он срывается,

лупит, давит, оскорбляет, нарушает границы, даже не чувствуя, что при этом происходит с ребенком, потому что его тоже никто никогда не чувствовал. Указать ему на это, обвинив, можно с тем же успехом, с которым можно отчитать безногого за то, что он не ходит. Или человека с умственной отсталостью за то, что не решает уравнений. К счастью, эмоциональный дефицит, дефицит привязанности – это не органическое нарушение, его можно восполнять. Для этого надо дать человеку другой опыт – опыт эмпатии, понимания, поддержки, одобрения, веры в него. Изменения требуют огромных сил, а где их взять без поддержки?

3. Обвиняя, мы задаем определенную диспозицию. Вот баррикада, по эту сторону – мы, хорошие и правильные, по ту – «плохой» родитель и его плохое обращение с ребенком. Тем самым соединяем, склеиваем его с ролью «плохого» – ведь то, что с нами по одну сторону баррикады, становится еще ближе и роднее, не так ли? Это не значит, что надо закрывать глаза на реальность, одобрять насилие, и улыбаться, когда он рассказывает, что вчера отлупил ребенка и т. д. Это значит решительно встать с ним по одну сторону баррикады, а по другую оставить то плохое, что он творит. Называть своими именами деяния, требовать изменений, но не сдавать человека, чтобы у него был шанс вступить со своими моделями в конфронтацию и победить. Потому что нас больше, по эту сторону.

Наверное, еще что-то есть, но пора о детях.

Почему обвинение родителей вредно для детей.

1. Прежде всего потому, что виноватый родитель всегда тревожен и неуверен. А для ребенка тревожный неуверенный родитель – это очень плохо. Не намного лучше, чем жестокий и авторитарный. Может, и хуже. Кроме того, это часто просто две части одного процесса: тревожный родитель провоцирует альфа-комплекс (стремление быть главным, непослушание, дерзость) у ребенка, что опять заканчивается скандалом или поркой, потому что «сладу с ним нет».

Внушая родителю, что он не справляется, вставая между ним и ребенком, проламывая границы семьи, мы всегда бьем прежде всего по детям, разрушая их мир, пугая, лишая спокойствия. Тут недавно писал один приемный папа, как у его мальчика случилась истерика, когда они попали в небольшое ДТП, – он боялся, что папу сейчас заберут в тюрьму, а его в детский дом. Для него что гаишники, что милиция, что опека – это «все они», кто может вломиться и разрушить его жизнь. Представляете, каково ребенку жить с таким страхом каждый день? Наши дети живут в этом информационном поле каждый день.

2. Когда ребенка обижают, он часто мечтает, чтобы кто-

нибудь пришел и прекратил это. Но в его фантазии все выглядит примерно так: пришел добрый и сильный волшебник, погрозил родителям пальцем, а может, и отшлепал, они все поняли, прижали деточку к груди, полюбили, попросили прощения и исправились. К сожалению, если в реальности «кто-то» придет грозить и шлепать, результат будет другой. Получив свое, родитель, который не умеет справляться с агрессией, не умеет сам себя поддержать и утешить, с вероятностью стопицот процентов спустит собак на ребенка. Не сегодня, так завтра. Не в виде побоев, так в виде оскорблений и шантажа. А уж полюбить – это вряд ли. Вы бы прониклись любовью к тому, из-за кого вас опустили?

Ну, или, в радикальном варианте, ребенок будет отобран, родитель посажен, семья разрушена. Иногда другого выхода нет, встречаются очень сильно нарушенные родители, которые постоянно прибегают к жестокости и ничего не желают и не могут менять. И тогда необходимо вмешательство. Но этот выход очень, очень плохой. От того, что он вынужденный, лучше он не становится.

3. Если родителя обвиняют в плохом обращении с ребенком, ребенок обычно чувствует виноватым себя. Это просто особенности психики ребенка до подросткового возраста. Если бы я лучше себя вел, папе не пришлось бы меня бить. И все в таком духе. Никак это предотвратить нельзя, можно потом долго ребенку объяснять, что он не виноват, если он, конечно, поверит (приемные родители знают, как это непросто). Может, потом прочитать Алис Миллер, чтобы уяснить, что виноват не он. Может, на терапию пойти, лет в 30. А до того... Важно понимать, что ребенка травмирует сам факт обвинения родителей, независимо от его истинности, целесообразности и т. п. Такой неизбежный «психологический налог» на защиту детей от родителей. Отказаться защищать из-за него мы не можем, но знать цену вопроса обязаны.

4. Мы все сделаны из своих родителей. Хотим мы этого или нет. Да, не только из них, еще много из чего, и мы сами с усами. Но они – наша плоть и кровь, наши корни, наш источник, именно к ним мы присоединены «психологической пуповиной» привязанности, даже если лично с ними давно не общаемся и видеть их не хотим (или не можем). Это то, о чем постоянно идет у нас разговор с приемными родителями. Говоря ребенку, что твоя мать (или отец) – дерьмо, мы тем самым говорим ему: «Ты сделан из дерьма». Он слышит именно это.

Что произойдет, если пуповину присоединить к мешку с дерьмом? Душевный сепсис. Кто-нибудь сочтет это хорошим

результатом «защиты прав детей»? И, кстати, кто-нибудь сочтет убеждение «мои родители – сволочи и монстры» или «ничтожества и лузеры» хорошим результатом терапии уже выросшего ребенка?

Тут вспоминали библейское: «чти отца и мать». И я писала, что это не столько моральная заповедь, сколько предписание из области психогигиены. Чти – здоровее будешь, жить сможешь хорошо и долго, не отравишься.

Можно, конечно, пуповину оборвать. Иногда тоже нет другого выхода. С куском души, но выдрать отравляющую привязанность. Лишив себя заодно и ресурса, всего того хорошего, что родители все же дали. Но это как с отобранием. Очень плохой выход, когда все другие еще хуже.

5. Если речь идет об уже выросшем ребенке, обвинять родителей вредно, потому что это искажает роли, точнее, закрепляет уже имеющееся искажение. Обвинение – это доминантная позиция, сверху. А ребенок, о котором плохо заботились, недополучил как раз детского, его и так уже сделали ответственным за отношения, он и так уже был в ответе за то, чтобы мама не разлюбила, а папа не расстроился (или не рассердился). Он и так уже был самым взрослым в своей семье, где родители «кричали обиженными детскими голосами», как сказано в одном из комментариев, и дрались первыми попавшими под руку предметами, как сердитые двухлетки. Предлагать ему стать обвинителем, выносить вердикт – значит, кормить парентификацию (навязанную роль старшего в семье), от которой он и так пострадал. И тем самым закреплять травму, создавая иллюзию изменений. Нормально злиться, кричать и плакать – это и делают обычно дети, которых обидели. Но не надо создавать у них иллюзию, что они могут «победить» родителей, осудить родителей, исправить родителей и вообще в той или иной форме одержать над ними верх. Не могут. И чем скорее и полнее это осознают и примут, тем скорее и полнее избавятся от собственной вины, ибо какой спрос с ребенка? Он маленький. Он не выбирает. Он принимает то, что есть.

Родители – это люди, которые когда-то были нашим миром. Мирозданием, стихиями, погодой, средой, образом жизни. Стремясь их осудить и «морально наказать», мы похожи на того царя-идиота, который приказал высечь море. Нет, это нормально лет в 15, когда как раз идет мучительное, с протестом и откатами в регрессии осознание факта, что родители – не мир и не боги, а просто дядька и тетка, несовершеннолетние, но родные и мои. Но в 30 с гаком и позже оно не есть признак, что восстановление после детских травм идет хорошо. Надо менять концепцию

реабилитации.

Почему это вредно для специалистов.

Потому что просто. Они козлы, и все. Написал экспертное заключение про это – и пошел пить чай с коллегами, перетирая про «ну, и родители нынче пошли». Очень снижает уровень. И формирует комплекс вершителя судеб, у которого весы как у Фемиды, но глаза открыты, ибо каждый – глаз-алмаз. И всеоооооо видит.

Если верить, что власть развращает, то власти больше, чем над самыми значимыми для людей отношениями, родительско-детскими и супружескими, невозможно придумать. И не дай Бог никому в эту свою власть всерьез поверить.

Почему это вредно для общества и вообще.

Потому что оно у нас и так интоксцировано виной по самое некуда.

Понимаете, вина если и может быть конструктивна – если! – то как чувство, которое испытываю я сам. Я виноват, я раскаиваюсь, я стараюсь что-то изменить. И даже такая вина может стать патологичной, если человек в ней застревает, если она не переходит в ответственность. Но как начало процесса изменений чувство вины (угрызения совести) может быть работающим. При условии, что у человека достаточно ресурсов, чтобы ее выдерживать, не разрушаясь и не вытесняя.

Вина же, которую кому-то пытаются навесить извне, обвиняя, ничего не дает в принципе. Ну, если мы хотим изменений к лучшему, конечно. Для власти, манипулирования, самоутверждения, самозащиты и прочих вариантов не допустить изменений и законсервировать ситуацию обвинения – самое оно.

Назвал, кто виноват, про что делать уже можно не париться. Именно так устроено девять из десяти общественных обсуждений любого вопроса в наших палестинах. Не говоря уже об официальных реакциях на любое ЧП или проблему.

А у нас, между прочим, ЧП и проблем – выше крыши. Так недолго остаться совсем на развалинах, азартно обсуждая, кто виноват.

И еще одно: иногда (на самом деле – часто) обвиняемый верит, и вина становится его внутренней. Это всегда та самая «плохая», застревающая, не переходящая в ответственность и изменения вина, которая парализует и «ставит крест». За нее можно дергать, как марионетку за веревочку. Чего еще надо? Управляй – не хочу. Считаю, что чип для дистанционного управления вставил.

Так вот, каждый акт вставления очередного чипа в любого члена общества в наших с вами реальных исторических

обстоятельствах – еще один шаг в сторону от надежды когда-нибудь жить нормально. Так и хочется сказать: и вообще преступление. Ну, я ж тоже здешняя, не с Марса. Прямо так и подмывает обвинить.

Нам детокс нужен. Тут у нас надо проводить не день без автомобиля, а день без обвинений. Или хотя бы час. Или хоть пятиминутку. Продержимся ли?

Чего ради

21 октября 2011 г.

А вот задам-ка я вопрос про воспитание детей. Простой такой вопрос: чего ради? Цель?

Какова, по-вашему, цель воспитания? К чему мы стремимся в конечном итоге? Что сочтем успехом, качественным выполнением родительского долга? Или не родительского, а педагогического, если мы на работе воспитываем?

Варианты, которые приходят в голову с ходу:

- чтобы был счастлив;
- чтобы добился успеха;
- чтобы не пропал, адаптировался, мог о себе позаботиться;
- чтобы был полезным членом общества;
- чтобы был хорошим, нравственным человеком;
- чтобы был нашим продолжением;
- чтобы хорошо растил своих детей.

Итак, ваш вариант? Счастье, успех, добродетель, адаптация, продолжение рода, выживание вида? Другое? Желательно с аргументами, конечно.

А потом я напишу свой ответ на этот вопрос, тот, который у меня с течением лет утвердился внутри.

22 октября 2011 г.

Ух, как интересно получилось! Столько ответов, совсем разных и интересных! Если бы у меня был дубль, я бы его немедленно командировала это дело обработать и систематизировать, да еще с вопросами уточняющими поприставать к людям. Получилось бы прям исследование. Но дубля нету. Поэтому я просто все прочитала, и иногда так и хотелось в ответ что-то написать, но я не писала, чтобы не сбивать вновь отвечающих с контакта с самими собой.

Так что теперь сразу всем пишу.

Есть ли правильный ответ? Конечно, нет. У каждого он свой, один или несколько. Мне кажется, тут важно не столько «правильно» отвечать на этот вопрос, сколько осознавать, как именно твой ответ отражается на твоём поведении с ребенком, на ваших отношениях, на твоём самочувствии как родителя (педагога). Потому что, конечно, очень отражается. Совсем иначе будут воспитывать ребенка те, для кого цель – успех, и те, для кого – нравственность, и те, для кого – счастье. А еще бывает

интересно, когда цель, поверхностно осознаваемая, совсем не совпадает с той, что в глубине. Например, вслух звучит про «быть достойным членом общества», в глубине «чтоб не сожрали мою детку, чтоб не пропал». Это нередко в нашей стране встречается, хотя у тех, кому 30 и меньше, все реже, к счастью.

Сначала о «воспитании» вообще. Многие написали: а я не воспитываю. Это вряд ли. Пока дети – дети, значимые взрослые их воспитывают, осознают они это или нет. Не выходящая из запоя мама тоже воспитывает, по-своему. Ушедший из семьи папа тоже воспитывает. Умерший родитель воспитывает. Не говоря уже о родителях здравствующих и присутствующих в жизни ребенка здесь и сейчас. Есть выражение, что человек – «пустое животное». Это значит, что наши жизненные программы не записаны в генах. Они формируются у нас в течение периода детства. Именно поэтому наши дети так долго нуждаются в родителях, в отличие от других млекопитающих. Так что воспитываем – воспитываем, не отвертеться. Загружаем программы отношения к миру, к себе, к людям, к делу, к вере, загружаем стратегии и алгоритмы, неустанно даем обратную связь, обучая и отлаживая эти программы. Короче, как господин Журден, «говорим прозой», даже если об этом не думаем. И оно хорошо, что не думаем постоянно, а то бы не было никакой спонтанности и удовольствия от процесса, а они тоже воспитывают. Но иногда можно и задуматься. Как вот мы сейчас.

Любопытно, что многие заменили ответ на вопрос «в чем моя цель?» ответом про «что я хочу». И потому так много ответов про счастье – если внимательно почитать, там почти всегда про «хотелось бы». Да кто ж спорит, конечно, хотелось бы. Но цель – это все же не про «хочу», а про «осознанно стремлюсь и целенаправленно действую». И в этом смысле счастье как цель не очень. Даже если иметь в виду не временное счастье как состояние, его только гипоманиакам удастся все время испытывать, и кокаинистам «по заказу», а такое глубинное «все хорошо». Ну, вот мы воспитываем-воспитываем, имея в виду эту цель, а потом у него, не дай Господь, умрет любимый человек. Или ребенок будет тяжело болен. Или сам он сделает что-то – ненамеренно – с ужасными последствиями. Собьет насмерть ребенка, будучи за рулем, – может случиться. Какое уж тут «все хорошо»... В общем, о счастье для своего ребенка можно, наверное, мечтать и молиться, но как цель... Неубедительно.

Успех – дело относительное, и, как многие заметили, большинству других целей противоречащее. Успешный человек часто уязвим (зависть, враги, перенагрузки), – это противоречие с «не пропасть», – далеко не всегда порядочен и очень часто

несчастлив (это я вам как психолог говорю, по опыту работы с очень успешными иногда клиентами). И есть люди, которым успех (внешне признанный) просто не нужен. Ну, не прет их, не будут они ничего ради него предпринимать. Имеют право. Если я правильно поняла, многие имели в виду не успех в смысле «китайских родителей» – пятерки и победы на конкурсах, а то самое «все хорошо», «получается то, что для меня важно». Но, опять-таки в успехе очень велик элемент случайности. Или неслучайности – все же способности нужны. Иногда средства. И мотивация – а если он просто не захочет? Пошлет лесом все, во что мы годами вкладывались. В общем, не очень понятно, как мы можем это дело обеспечить.

Адаптированный – безусловно, цель. Но тут есть засада: тысячелетиями люди жили в условиях, когда было совершенно понятно, к чему адаптировать. Вот как сейчас все идет, так и дальше будет. Но в последние пару веков все изменилось. И продолжает меняться все быстрее. Сплошь и рядом сейчас дети адаптированное родителей, и это они нас адаптируют, помогая перевести с английского или разобраться в компьютере. Вспомните, еще недавно считалось «правильным» годами работать на одном месте. Сейчас на это смотрят косо: что, совсем тормоз? Было стыдно брать в долг, сейчас – норма жизни. Было нормально приходить в гости «просто так», без звонка, сейчас – немыслимо. Нетрадиционная ориентация или связь без брака были ужас-ужас, сейчас – обычное дело. Могли ли наши родители научить нас безопасно пользоваться скоростным лифтом или правильно парковаться, понимать значение всяких «Е-стописят» на этикетках с продуктами, научить верно рассчитывать ипотеку, правильно есть суши, вставлять симку и выбирать тариф? Что будет через 20 лет, мы вообще не знаем. Может, цивилизация гикнется, и самым разумным было бы учить детей добывать огонь трением и ловить силками зайцев? А мы сидим.

Про общество – многие открестились, оно и понятно. Нам ли не знать, что за странные вещи могут пониматься под «достойным членом общества». А вот где-то это воспринимается как нормальная вполне цель. Если, опять же, общество стабильно – нормально. Но в прошлом веке все встало с ног на голову, и кто-то, кто растил детей, скажем, в Германии первой половины XX века, вовсе не ждал, что жить им придется при нацизме. А если б знал и ждал? К чему бы готовил? К адаптации = стать сволочью? К нравственности = сгинуть? К успеху = должность коменданта концлагеря, а в перспективе – виселица? А то, может, к счастью? Чтобы растить ребенка достойным членом общества, надо иметь уверенность, что будет сколько-нибудь достойное общество. То,

чему научил всех XX век, и что не осознавалось раньше: цели семьи и общества – это две большие, очень большие разницы. Чего бы по этому поводу ни мечталось обществу.

Про нравственность. Много комментов, что нравственность – это относительно. Тут я совсем не согласна. Относительны нравы. Об этом было в предыдущем абзаце. Иногда нравы пытаются себя представить как нравственность, но это проблемы их самопиара, не более того. Нравственность, мораль, как показал Кант, и пока его никто не опроверг, для всех людей и вообще для всех разумных существ одна, и ее суть описана в категорическом императиве, или в евангельском «возлюби ближнего как самого себя». Но тут есть одна проблема. Нравственность – это прекрасно. Когда человек ее выбирает сам. Но как только нравственность начинают «воспитывать», получается ужас что. Например, инквизиция. Или тоталитаризм. Или еще какая гадость помельче, например, ханжество. Тут вот что важно: воспитание, как мы помним, есть процесс загрузки программ. А нравственность – не программа. Это сфера свободы. Если человек поступает морально лишь потому, что его так научили, он не морален. Он просто дрессированный. Отсюда знаменитое корчаковское: «Пусть дитя грешит». Нравственность – это выбор между добром и злом. Если мы могли бы так воспитать, что не оставили бы ребенку возможности выбрать зло, тем самым он не мог бы свободно выбрать и добро. Поэтому от этой цели я лично отказываюсь категорически. Хотя хочется, очень хочется, и прямо ужасно, когда ребенок в этом смысле разочаровывает, но...

Про продолжение себя. Тоже хочется. Это ж почти рецепт бессмертия. Но что бывает, когда родители сильно сидят на этой кочерге, мы все знаем. Опять же, в традиционном обществе обычно все получается: а какие еще варианты. А у нас тут, понимаешь, кто во что горазд. Нет, ну его. Пожалуй, особенно хотелось бы продолжения именно в смысле воспитания детей. Но, опять же, а вдруг он не захочет. Или не сможет. И что тогда, все напрасно?

Многие отметили эгоистичные, так сказать, цели – чтобы мне с ребенком было удобно и хорошо. Оно совершенно правильно, но это все же цели про себя, а не про ребенка. Я бы их сейчас вынесла за скобки, это немного другая тема.

В общем, к чему я сама-то пришла в итоге, я это не перечисляла в списке, чтобы не вызывать вопросы раньше времени, но во многих комментах услышала совпадение. ИМХО, цель воспитания – свобода. Свобода в смысле «выбираю, каким быть и что делать, а главное – имею возможность выбирать». Вот про возможности – это как раз к родителям. Потому что толку от

свободы без возможностей.

Если вдуматься, хорошее воспитание – это и есть непрерывное создание возможностей. Расширение сферы свободы и планомерное преодоление несвободы. Что ни возьми.

Непрочная или амбивалентная привязанность – это несвобода. Она обрекает на то, чтобы ребенок или подчинил свою жизнь тому, чтобы добиться любви родителей, или чтобы освободиться от их власти. Прочная – дает полностью прожить опыт безопасной зависимости и освободиться от зависимости, когда настанет время. Принятие, любовь, внимание, забота дают чувство прочного тыла, а с хорошим тылом можно отправляться в любую сторону.

Плохое образование, отсутствие возможностей для развития способностей – несвобода, ограничение возможностей. Хорошее – больше возможностей, больше свободы выбора. Насильственное образование, манипулятивное развитие – несвобода, повреждает мотивацию, ребенка «тошнит» от того, что ему навязывалось. Ненасильственное, поддерживающее – оставляет все пути открытыми. Захочет – продолжит, захочет – найдет другое, но опыт останется с ним. А может, потом еще раз передумает. То есть покупая гитару и краски, выбирая внимательно школу, мы увеличиваем степени свободы, но ставя, например, свое хорошее отношение к ребенку в зависимость от его успехов, позволяя учебным проблемам разрушать отношения, прибегая к насилию ради успехов в чем-то – уменьшаем.

Забота о здоровье и безопасности – расширение сферы свободы, это очевидно. Рахит, гастрит и сколиоз свободы не добавляют. Не говоря уже о более серьезных травмах и болезнях.

Очень жесткие рамки того, что родители готовы принять, например, требование послушания всегда и во всем – несвобода, потом всю жизнь придется либо уступать, либо «бороться за правду» (попустительство во всем – тоже несвобода, так как незабота, об этом было выше). Насильственное насаждение своих ценностей – несвобода, ребенку приходится либо глотать, не жуя, либо выплевывать, а попробовать-то он и не может.

Отказ от заботы, прерывание связи – тоже несвобода, ушедший родитель «привязывает» к себе, к своей судьбе. Не всегда это от нас зависит, но ребенок, которому не довелось пережить потерю родителя, конечно, в общем и целом свободнее.

Запрет любить и помнить «плохого» родителя – несвобода. Если запрета нет, ребенок может выбирать: быть похожим или нет. Если любить нельзя, ему приходится повторять образ жизни и судьбу – а как еще сохранить связь?

Травмы, насилие, унижение, привитые комплексы – это

несвобода, и так понятно. Ребенок вынужден будет потратить кучу времени и сил на преодоление последствий – или жить с искажениями внутри.

Разнообразные модели и стратегии поведения самих родителей – это тоже свобода. Тогда, возвращаясь к разговору о жизни в обществе, у выросшего ребенка будут в распоряжении разные стратегии: лояльности (если повезет на времена) или сопротивления (если не повезет и если это будет для него ценностно важно). И на более мелком уровне: всякие знания-умения-навыки, чем больше возможностей, тем лучше, кто его знает, что пригодится и даст больше свободы.

Открытость в отношениях, разговоры, рефлексия чувств и поступков – больше свободы, умолчания, закрытые темы, «скелеты в шкафу» – меньше.

Не буду продолжать, ибо можно бесконечно.

Это я не к тому, чтобы кого-то убедить, или что я именно права, а другие нет. Просто у меня вот так сложилось внутри.

Конечно, возникает вопрос: как же так, ведь сплошь и рядом мы ограничиваем свободу ребенка, чтобы обеспечить ему свободу на будущее. Ну, в предельном варианте: не даем выпасть из окна, чтобы оставить в его распоряжении жизнь. Или не даем чипсов, чтобы в будущем он мог проводить время не на больничной койке в гастроэнтерологии, а более свободно, разнообразно и творчески. Да еще одна свобода часто противоречит другой: хорошее образование – свобода, но проверять уроки до старших классов – значит, не давать свободы самому за свои успехи отвечать. Пусть дитя грешит – оно, конечно, свобода, но вот если он догрешится до колонии, это будет уже совсем несвобода. И так все время.

Это очень интересный и непростой вопрос, связанный с тем, что, воспитывая детей, мы имеем дело со становящейся субъектностью. Кант и другие писали о субъектности, уже имеющей место. Адам Смит говорил, что либерализм – не для детей и дикарей, и при всей нетолерантности в этом есть здоровое зерно. Воспитание под знаком «никакой свободы» уродует. Воспитание в условиях полной свободы невротизирует, да и просто опасно. Что в одном возрасте хорошо, то в другом плохо. И с разными детьми. И в разных ситуациях. Все время нужно искать баланс, сколько свободы нужно прямо сейчас и про что.

В общем, про это совсем ничего еще толком неизвестно и непонятно в мировой философской, педагогической и этической мысли. Тут думать и думать.

2 августа 2015 г.

Решение Верховного суда об отказе детям мигрантов без регистрации получать бесплатное школьное образование – безумие. Я не знаю, что за ним стоит, популизм или экономия бюджета, но это полное безумие.

Если кто-то думает, что в результате мигранты начнут сниматься семьями и возвращаться к себе в разруху и нищету, то этого не будет. Если кто-то думает, что в результате у них у всех откуда-то появятся деньги на съём или покупку нормального жилья с регистрацией, то этого не будет тоже.

Просто их дети не будут ходить в школу.

Что они будут делать вместо этого? Догадайтесь. Кто не догадался – пересмотрите американские фильмы 1960—80-х про подростковые банды в мигрантских кварталах. А что им еще делать, если на будущее тоже никаких вариантов, никакой легальной работы без аттестата не будет в принципе.

Что дальше – будем их в тюрьмы отправлять, на повышение квалификации?

Или еще раньше отбирать у родителей, пусть идут в детдома «экономить» бюджет? И ненавидеть это государство, и всех его «законных» жителей заодно, причем совершенно справедливо.

Не случайно все страны, столкнувшиеся с массовой миграцией, ограничивают все что угодно, но не возможность учиться детям. Сейчас во многих странах Европы вы можете прийти в государственную школу и откровенно сказать директору, что вы в стране пока непонятно на каких правах. Вашего ребенка немедленно зачислят, более того – полностью обеспечат формой, школьной и спортивной, учебниками, канцтоварами и горячим питанием в школе. И помогут освоить язык, дополнительно позаниматься – тоже бесплатно. Потому что это ребенок, и он должен учиться, какими бы ни были отношения его родителей с государством. Отношения могут измениться, а детство проходит, возможности упускаются, образ жизни формируется. И казна не разорится, выдав ему тетрадки и кеды, зато потом гораздо ниже шанс, что придется содержать его в тюрьме или лечить от СПИДа. Более того, при решении вопроса о виде на жительство это становится одним из важных критериев: ходят ли дети в школу, и насколько исправно. Что родителей, а значит, и детей мотивирует дополнительно.

Да, образование в массовых школах не то чтобы на уровне Итона. Разноязыкие дети, не всегда благополучные семьи, стресс от культурного шока. И насилие легко возникает, и стычки на национальной и конфессиональной почве, и наркочидилеры ищут туда тропы. Это постоянная тема для обсуждения – как

мотивировать детей в таких школах учиться, как наладить между ними отношения. На эту тему тоже есть всякие трогательные фильмы, там Вупи Голдберг или Жерар Депардьё (ещё не спившийся) пытаются найти подход к юным обормотам. В кино все мимими, в жизни сложнее, это серьёзная проблема. Но она уж точно не серьёзнее, чем массовая уличная подростковая преступность.

Если сейчас кто-то из родителей радуется, что наконец рядом с их чадами в классе не будут сидеть «эти черные», то, боюсь, у их детей уже есть гораздо бо́льшая проблема, чем низкий уровень преподавания в школе. Потому что родители, неспособные к построению причинно-следственных связей, это печальнее, чем плохо говорящий по-русски одноклассник. Ведь у них вряд ли будет возможность нанять своему ребенку личного водителя-охранника, чтобы до выпускного встречать-проводить из школы в районе, где его бывшие одноклассники, только уже обозленные и глотнувшие криминальной свободы, будут слоняться по улицам.

Я не хочу сейчас обсуждать проблему миграции, связанной с ней коррупции, несовершенство законов и т. д. Это все может решаться и налаживаться (или ухудшаться) годами. Но дети должны иметь возможность ходить в школу при любых обстоятельствах. Это то, на что мне лично не было бы жалко своих налогов. В отличие от войны с соседями.

Мы так боимся, что ребенка заберет у нас смерть, что забираем у него жизнь

1 июня 2016 г.

В День защиты детей принято отчитываться о достижениях и писать о том, что еще предстоит сделать ради них. Но мне хочется сегодня поговорить о том, о чем сложно и не очень хочется думать. О том, что у стремления защитить детей и позаботиться о них, об их безопасности, здоровье, нравственности, будущем, есть теневая сторона.

Сеанс черной магии с последующим разоблачением

Как еще описать эффект от потрясшей многих российских родителей статьи в «Новой газете» о подростковых суицидах (<https://novayagazeta.ru/society/73089.html>)?

Необъяснимые смерти детей из благополучных семей, таинственные киты, уходящие в небо, культ «сетевой святой» Рины, кадры изрезанных рук, телефонные звонки перед смертью, жуть наводящая «Ева Рейх»... Что за черные властелины и гамельнские крысоловы, не имеющие ни лиц, ни имен, уводят за собой наших детей в «иную реальность», в «постижение истины», «в небо» – а на самом деле в бессмысленную и безвременную смерть?

Автор этого нашумевшего материала – Галина Мурсалиева – выступила в роли доктора Ватсона, который и сам был под впечатлением мрачных туманов и жутких легенд Девонширских болот, и читателей мастерски загнал в это состояние. У всех уже коленки тряслись в ожидании жуткой потусторонней твари, прячущейся за клубами тумана. А потом пришел скучный Лестрейд в образе молодых журналистов из Ленты. ру и все испортил. Они, а за ними и еще многие, в один день без всякой мистики и «многомесячного погружения» докопались до того, до чего, собственно, абсолютно всегда докапываются все, расследующие разного рода «клубы самоубийц». «За занавесом» неизменно оказываются либо мошенники, пилящие на горячей теме свою денежку, либо нарциссы-социопаты, компенсирующие свою жизненную неудачливость и непопулярность властью подобного рода. Некоторые из них уже задержаны, они и не прятались особо, охотно делились с журналистами восторгом, что

всех «надули» (в оригинале, понятно, другое слово). Другие начали тут же выкручиваться и зачищать следы. Естественно, сами «воландеморты» всегда цепко держатся за жизнь и благополучие, и не считают все сущее, особенно славу и деньги, не стоящей внимания суетой. Потом и Еву Рейх нашли – «черной госпоже» 13 лет, город Омск, реакция: «ачетакова».

Было много споров о самой статье. Восхищались, ругали. Противопоставляли «профессионализм» Ленты «алармизму» «Новой». Мне не кажется, что тут есть однозначный ответ.

Статья в «Новой» – безусловно, что угодно, только не журналистское расследование. Это, увы, не единственный пример, когда у журналиста этого издания есть яркая позиция, мнение и впечатление, а значит, взвешенная работа с фактами уже не нужна.

С другой стороны, не будь «черной магии» в статье, не было бы двух миллионов просмотров – не вскинулись бы разом все коллеги по цеху и не сделали бы за день то, что Мурсалиева не смогла/не считала нужным сделать за несколько месяцев. Не задумались бы тысячи родителей подростков о состоянии своих детей, об отношениях с ними. Так что, если исходить из оценки произведенного эффекта, статья несомненно «выстрелила». И зацепила те пласты темы, которые в подчеркнуто здравых «лестрейдовских» материалах совсем не звучат: что с детьми-то происходит? Пусть «за занавесом» – всего лишь закомплексованные недоумки, но дети-то почему ведутся на все это? Почему уходят из жизни, в которой у них все есть, чтобы жить и радоваться, – семья, школа, удовольствия, перспективы?

<i>Все не так, как на самом деле</i>

Сначала доразгоним морок. Любой ребенок гораздо больше зависит от ближайшего окружения в реале, чем от тайных сообществ в Интернете. В подавляющем большинстве случаев суицидальным попыткам предшествуют серьезные конфликты с родителями, учителями или сверстниками, депрессивные эпизоды, эмоциональные потрясения, развивающиеся зависимости и пищевые расстройства. Статистика однозначно указывает, что Интернет не только не является фактором, провоцирующим рост подросткового суицида, но скорее дает обратный эффект. Степень охваченности населения Сетью обратным образом коррелирует с количеством суицидов вообще, и подростковых в частности. Зато прямо с ним коррелирует уровень нищеты, общей неустроенности, семейного насилия, а

также низкое качество образования и отсутствие социальных лифтов. Просто о гибели пятнадцатилетнего наркомана из нищего рабочего пригорода никто не напишет в центральных газетах. Попытку повеситься девочки, замученной домогательствами отчима, окружающие ее взрослые назовут «дурью», и не то что к психологам – даже к врачам не побегут, и ей запретят. Это не значит, что в подавленном состоянии не могут быть дети из «хороших семей», не страдающие от насилия и имеющие заботливых и любящих родителей.

Из статьи Мурсалиевой, в которой упорно проводится мысль, что дети – «жертвы китов» – изначально были благополучны, видно другое. Только один факт: погибшая девочка так переживала из-за фигуры, что давно уже ела только листья салата. Это говорит о том, что у ребенка было как минимум устойчивое пищевое расстройство, один из маркеров повышенного суицидального риска. Понятно, что родным погибшего обычно проще смириться с обстоятельством непреодолимой силы – зомбированием через Сеть, чем с мыслью о том, что ребенку и прежде было плохо. Но в подавляющем большинстве случаев то, что дети состояли в суицидальных сообществах, было следствием их состояния, а не причиной.

Да, сегодняшние дети ищут все ответы в Интернете. В том числе и ответ на вопрос: «Что делать, если хочется сдохнуть?» Но сам вопрос у них появляется в реале. Манипуляции с цифрами вроде «130 детей из покончивших с собой состояли в группах про китов» – не более, чем манипуляции. А еще 200 из них ходили с родителями в церковь, 350 смотрели телевизор и уж точно все 400 ходили в школу. Что ж теперь – школу запретить?

Это никак не снимает ответственности с тех, кто мог в подобных сообществах подталкивать подростков к переходу от суицидальных мыслей (которые почти возрастная норма) к суицидальным намерениям и попыткам. В сообществах на это работают и нормализация, и поэтизация самой идеи, с использованием музыки и визуальных образов, и конкретные ноу-хау, и групповое давление: «а давайте все вместе», «кто не струсит». Модераторы-социопапы тоже могут быть весьма искусными манипуляторами. Это серьезно, и привлечение к ответственности тех, кто «шутил» и «флешмобил» подобным образом, очень важно, как и распространение информации о цене подобных методов самопиара.

Но не надо себя обманывать, что все сводится к «зомбированию в Интернете». Это тот случай, когда мистический ужас мешает видеть положение дел. А оно таково, что факторов, повышающих риск суицидального поведения подростков, полно и

без всяких китов и бабочек. Статью пообсуждают и забудут, а факторы останутся.

Не будь таким = не будь

Подростковый возраст дается человеку, чтобы сформировать идентичность, ответить себе на вопросы: «кто я? какой я? чем отличаюсь от других?» При этом самооценка и Я-концепция еще ломки и хрупки, отвержение и критика переживаются крайне болезненно. Поэтому одним из серьезных факторов риска становится любого типа хейтерство – ненависть и травля тех, кто... неважно что. Что-нибудь.

Одним из самых мощных хейтерских трендов последних лет в России стала гомофобия. Она была намеренно раскручена и даже закреплена в законе, запрещающем называть гомосексуальную ориентацию вариантом нормы. В результате уязвимы оказались не только дети с гомосексуальной ориентацией или с неустоявшейся ориентацией, но и буквально все подростки – ведь про каждого можно сказать, что он «гомик», и начать травить. Сама эта возможность висит в воздухе. Подобные случаи мне рассказывали даже родители детей, еще не закончивших начальную школу. Причем сами они обычно в первую очередь пугаются, что это правда, а уже во вторую – что ребенка травят. Еще десять лет назад такого не было.

При этом тема стала табуирована, все способы профилактики гомофобной травли перекрыты, про это больше нельзя издавать книги для подростков, проводить беседы, проект «Дети 404» методично уничтожается. Закон полностью парализовал любые способы работать с гомофобией среди подростков и почти любые способы поддержать и защитить того, кто стал жертвой травли. Его разрешено только пожалеть, как больного, и посоветовать ему не афишировать свою ущербность. Скольким детям этот закон стоил жизни, мы никогда не узнаем – ведь они «не афишировали». Один из его авторов Елена Мизулина жаждет изменить теперь и другой закон, чтобы можно было привлечь к ответственности 13-летнюю Еву Рейх. Задумывается ли она о собственной возможной ответственности за подростковые суициды?

Другой яркий пример хейтерства, перед которым особенно уязвимы девочки, – статьи, сайты и блоги, продвигающие фетиш худого и спортивного тела. Образ тела играет очень важную роль в общем чувстве удовлетворения жизнью. Подростки с их быстро меняющимся телом и так склонны к дисморфофобии (неприятию

своей внешности), а тут еще им из каждого утюга внушают, что «толстой попой жить нельзя». Подозреваю, что хамоватые похудательные гуру отправили на тот свет намного больше подростков, чем суицидальные сообщества. Анорексия убивает вернее, чем вскрытые вены, а булимия подталкивает к суицидальным попыткам. От мыслей: «хочу, чтобы меня было меньше», «я отвратительно выгляжу, на меня противно смотреть, я такой никому не нужен», – очень легко перейти к: «хочу, чтобы меня не было».

Проблема еще в том, что если от призывов лечь на рельсы родители приходят в ужас, то идея сесть на диету и заняться спортом им кажется вполне здоровой. Того, что за этим часто стоит неприятие себя – первый шаг к суициду, – они не замечают. Или того хуже – начитавшись мадам-траумелей, с тем же хамством и категоричностью начинают транслировать дочерям ненависть и презрение к их телу. «Ну и что ты так вырядилась, с твоей-то жирной задницей? Положи на место печенье, скоро в дверь не пролезешь. Нельзя так распускаться, пора следить за собой!» – увы, я точно знаю, что такое день за днем слышат от собственных родителей девочки из самых разных слоев общества. Их родители уверены, что любят и заботятся, что хотят, как лучше, что: «она же сама потом будет расстраиваться; лучше пусть услышит от меня, чем от молодого человека; это мой долг – ее предупредить». Хотя вообще-то долг родителей – донести до дочери, что, услышав от молодого человека хоть раз требование изменить внешность и унижительную критику, нужно разворачиваться и уходить. Потому что это первые признаки насилия, и скоро можно обнаружить себя с упругой задницей и битой мордой.

Можно привести еще множество примеров, когда семья и социум посылают подросткам мощное жестокое послание: не будь таким, какой ты есть. Если ребенок чувствителен, если поддержки у него мало, он слышит в этом: не будь. Лучше бы тебя – такого – не было. Может кто-нибудь объяснить, почему нас до трясущихся рук пугают «киты в небе», а все это кажется нормальным и даже «полезным»?

Тлен и безысходность

Подросткам предстоит проститься с детством и выйти во взрослую жизнь. А в ней куда-то стремиться, чего-то добиваться, реализовывать безумные идеи, покорять вершины. В теории. На практике огромное число детей выходят в жизнь, понимая, что их

не ждет ничего хорошего и интересного. Что они слышат от своих взрослых об этой жизни? Работа достала, начальник идиот, все задолбал, денег нет, бьешься как рыба об лед, и все без толку. Наша взрослая жизнь предстает перед ними бессмысленной тоскливой чередой дней, посвященных всякой дурацкой суете. Эта жизнь требует от людей вовсе не борьбы и поиска, а конформизма, прогиба, отказа от самости, от самореализации ради того, чтобы год скоротать и ипотеку выплатить. И вот ради этого им нужно взрослеть, очень много учиться и стараться, чтобы впрячься потом в эту лямку и почитать за счастье протянуть ее лет 60? Правда, что ли?

Мы сами не замечаем, как наша привычка всегда ныть и жаловаться, никогда ничего не пытаюсь изменить, готовность отказываться от своих смыслов и ценностей формирует у детей образ большого мира как филиала ада, бессмысленного и бесконечного. И что тогда есть смерть, если не побег из этого ада? И что может быть плохого в побеге из ада?

Живущему в таком настрое подростку очень сложно что-то противопоставить доморощенной суицидальной философии. «Держаться за жизнь глупо, ведь это сплошная серость и скука, посредственный мир для посредственностей», – ну да, все так и есть. Сама мама сказала. Она тоже уже давно не живет.

В матрице

Есть старый анекдот: Семья пришла в ресторан, официантка обращается к ребенку:

– Что для вас, молодой человек?

– Гамбургер и мороженое, – отвечает мальчик.

Тут вмешивается мама:

– Ему салат и куриную котлетку, пожалуйста.

Официантка, продолжая смотреть на мальчика:

– Мороженое с шоколадом или с карамелью?

– Мама, мама! – кричит ребенок. – Тетя думает, что я настоящий!

Мы очень любим наших детей. Мы хотим для них всего самого лучшего. Мы волнуемся о них. Мы хотим быть уверены, что с ними не случится ничего плохого. Мы заботимся о них. И делаем это так хорошо, что они уже не уверены, что существуют.

С начала нынешнего века произошло многократное усиление контроля за детьми. Мы отслеживаем их мобильники. Они выходят из школы строго по пропускам. С ними больше не может пойти в поход учитель – согласование и оформление бумаг

займет вечность. Они больше не могут сами гулять во дворе, почти полностью лишены свободной игры – только перемещаются от кружка до секции в сопровождении бабушки или няни. Любое происшествие, связанное с детьми, вызывает массовую истерику и поиски виноватых. Немедленно начинается сбор подписей, требующих наказать, запретить, исключить повторение. Немедленно вылезают депутаты и прочие начальники с идеями «создать систему контроля» и «ужесточить ответственность». Количество проверок любых детских учреждений растет с каждым годом, количество запретов и предписаний тоже.

Дай нам волю, мы бы завернули их в вату и продержали до 20 лет, или – еще лучше – засунули бы в капсулы, как в фильме «Матрица», и чтобы к ним по трубкам шли питательные вещества и знания.

Подросткам это все особенно тягостно. В коллективном бессознательном заложено ожидание инициации: испытаний для проверки на право быть взрослым, путешествия в иной мир, диалога со смертью. Ребенок всегда может спрятаться от своих страхов в объятиях родителя, подросток жаждет узнать, чего стоит он сам. Но родители волнуются, педагоги не хотят отвечать, и в качестве инициации мы готовы предоставить им только ЕГЭ.

Тема смерти табуирована. Как думаете, многие ли школьные психологи и учителя решились поговорить с детьми о суицидах, прочитав статью в «Новой»? Я сомневаюсь, потому что, если разговаривать всерьез, а не просто нотацию прочесть, нужно начинать со слов вроде: «Думаю, многие из вас иногда испытывают желание умереть или сделать что-то очень опасное, и это нормально». Кто на такое решится?

Подросткам не с кем об этом разговаривать, мы пугаемся, пьем корвалол и напоминаем, что уроки не сделаны. Они идут в зацеперы и стритрейсеры, душат друг друга шарфиками и режут руки. Не имея свободного детства, они дорываются до свободы в тот момент, когда мы физически теряем возможность их контролировать, и оказываются не готовы к этим возможностям, часто не способны оценить риски и предвидеть опасности. После каждого «экссесса» мы ищем, что бы еще запретить и ограничить. Сейчас начали отбирать гаджеты и читать профили. Чем больше мы обрываем телефоны своими тревожными звонками, тем больше им хочется выключить звук вовсе. Чем больше мы упрекаем и проверяем, тем меньше между нами доверия, тем сильнее их желание вырваться из-под колпака. Вплоть до крайних форм бегства от этого всего – в смерть.

Мы не слышим, не видим их, считаем их желания и чувства

«блажью», не верим, что они настоящие. Их не спрашивают, за них все решено, все ходы расписаны, мы ждем, что они будут соответствовать. В итоге они чувствуют, что мертвая девочка Рина, которая оторвалась от контроля и ушла жить в Сеть, существует в гораздо большей степени, чем живые они. Она есть, а их нет.

Я попросила пятнадцатилетнюю дочь и ее подруг написать, что они думают обо всем этом. У них хорошие семьи и хорошая школа. У них нет депрессий и зависимостей. Вот их текст, почти без изменений:

«Перед подростком стоит миллион задач, миллион вопросов, на которые он должен для себя ответить, и единственный способ это сделать – получить жизненный опыт. А жизненный опыт нельзя получить, не имея свободы. Нельзя понять, кто ты, сидя дома за компьютером или за партой на уроке, а ведь многие родители не оставляют подросткам другой альтернативы.

В мелочном стерильном мире взрослых не может быть ни борьбы, ни свободы – за что бы ты ни боролся, все взрослые тебе в один голос скажут: «“не майся дурью“, “зачем тебе это?“, “не возникай, и без тебя проблем полно“, “нечего тут рисковать зря, делом займись“». От тебя требуется только нормально учиться и вовремя приходить домой, лишь бы не расстроить любимую мамочку.

Да, блин, у нас все шансы попасть в опасную ситуацию – на улице попадаются бешеные собаки, наркобарыги, маньяки, пьяные водители и прочее, так было всегда, и лучше не стало, но зато (спасибо вам большое!) у нас нет возможности попасть в ситуацию, где что-то зависело бы от нас. Нам не приходится делать выбор, мы не рискуем, не ищем, не живем. Мы учимся, убираем комнату и, если повезет, иногда получаем возможность выйти из дома под предлогом посиделок с подружкой в известной родителям кафешке, чтобы отзваниваться о каждом шаге и возвращаться в строго определенное время.

Больше всех это касается нас, девочек, ведь это наша свобода обычно состоит в том, что мы можем выбрать, делать сначала английский или химию. Это дерьмово, но мы сумели найти лазейку для своей жизни. У нас есть Сеть – все-таки что-то вроде свободного общения, какая-то надежда, что где-то в отдаленном уголке Сети найдется вдруг что-то реально интересное. В реальной жизни от нас не хотят, чтобы мы кем-то были – идеальный ребенок не думает, не сомневается, не совершает ошибок, а в Сети мы можем решить, кем будем. Это не то, что понять, кто ты, решая самые важные вопросы в жизни, отстаивая себя и свои убеждения, находя и теряя новых людей, вступая в

конфликт и учась из него выходить, но это, в принципе, сходит. Нормально. Так сделали бы все, если бы реальная жизнь была под запретом. И, блин, даже если бы действительно существовали всякие секты с чокнутыми маньяками, которые раздавали бы номера и квесты и пичкали нас всяческой таинственностью, то эти девочки, которым не дают ни глотка свободы и которые еще не научились безукоризненно врать своим родителям каждый день, были бы просто самыми первыми, кто повелся бы. И они бы самыми первыми прыгнули с крыши – вместе с подростками, у которых действительно невыносимая жизнь, адские проблемы с родителями и все такое прочее. А что важного они теряют, эти домашние девочки? Возможность делать уроки еще несколько лет? Свою личность? Ничего подобного, они ведь еще не знают, кто они, они только слышат, что о них говорят другие. Их самих давно нет. А тут предлагают Сеть для подростков закрыть, каждое сообщение контролировать. Да мы тогда все с крыш полетим, понимаете?..»

© искренне ваши, домашние девочки

* * *

«Мы так боимся, что ребенка заберет у нас смерть, что забираем у него жизнь», – сказал сто лет назад Януш Корчак, и за эти сто лет все стало еще серьезнее. Чем благополучнее мы живем, тем меньше хотим страдать. Тем больше контролируем и стелем солому стогами и вату слоями. Мы не хотим иметь ни малейшего риска, перекрываем все лазейки для смерти – а она вдруг оказывается прямо в сердце так рьяно оберегаемого ребенка. Мы можем защитить ребенка от чего угодно, только не от него самого. Если только мы не готовы сделать ему лоботомию – ради его безопасности. И, мне кажется, именно осознание этой истины лежит в основе того ужаса, в который ввергла родителей статья в «Новой». Нам придется научиться с этим жить, если мы хотим, чтобы наши дети жили.

Знание о том, что тебя не сдали

11 июня 2017 г.

Тема подростков и молодежи в политике после 26 марта 2017 г. не сходит со страниц. Напомню, в этот день в Москве прошла акция протеста против коррупции, в ходе которой были задержаны 1030 человек, в основном молодые люди и школьники. По этому поводу возникли образные выражения разной окраски: «крестовый поход детей», «политическая педофилия», «непоротое поколение». И, судя по последним выступлениям представителей власти, проблема молодежного протеста волнует не только блогеров и политологов. Его ждут, его боятся, с ним готовы бороться. Ведь все последние сто лет в стране не было сколь-нибудь массового молодежного протестного политического движения. Подростки и студенты, которые везде в мире составляют 70–80 % участников любого митинга или шествия, в СССР и России были в большинстве своем либо провластно настроены, либо аполитичны, либо их протест принимал форму «валить из страны».

И вдруг что-то начало меняться. Подросшие дети обнаружили, что впереди им светит вовсе не рост благосостояния и постепенное продвижение в сторону европейских стандартов жизни, пусть и под лозунгами «суверенной демократии», как казалось их родителям в нулевые. Мол, ты только учись, старайся – и все будет. Они старались. Книжки читали, курить не начинали, ЕГЭ сдавали, учились одеваться и улыбаться, говорить на английском и писать коды. Но постепенно становится все яснее, что, как ни старайся, а впереди подчистую выжранная саранчой поляна, намертво заржавевшие социальные лифты и завидная перспектива поддерживать любимых стариков в стране без медицины и пенсий. Но зато есть возможность приложиться к мощам. Или взять штурмом фанерный Рейхстаг. Почему-то – странно даже, да? – молодежь все это не обрадовало. Пока только небольшую часть ее, но процесс в самом начале.

И тут власть оказывается в щекотливом положении. Начать всерьез разгонять, бить и сажать «малолеток» – значит утратить полностью остатки легитимности и последнюю возможность изображать из себя сторонников «умеренного прогресса в рамках законности». Это срыв всех и всяческих масок, окончательный конфликт с населением и жирный крест на перспективе провести старость лет на Лазурном берегу в окружении внуков и правнуков. Да и все помнят, с чего начался настоящий Майдан –

не с абстрактной евроинтеграции, а с ночного избиения студентов.

Уступать нельзя, жестко пресекать тоже – поэтому власть предрасположена будет действовать через родителей, через педагогов, используя старые верные схемы «круговой поруки». Виртуальные баррикады политического противостояния постараются перенести внутрь семей и школ, использовать эмоциональное насилие со стороны близких и авторитетных взрослых, чтобы не пускать в ход в полную мощь насилие государственное.

Будут угрожать и вести «заботливые» беседы. Будут намекать на угробленное будущее. Будут предлагать помощь во «вразумлении». Будут выписывать родителям штрафы и вызывать на ковер. Будут действовать как плохой школьный учитель, который, сам не умея ни увлечь, ни заставить, пишет в дневник «Примите меры!» и глумливо шутит потом в учительской про «витамин Р», который кое-кому очень бы не помешал.

Думаю, в ближайшие месяцы и годы многие родители и учителя с таким могут столкнуться, да и уже столкнулись. Многим взрослым в этой ситуации будет непросто, хочется их немного поддержать и, возможно, дать несколько советов.

Не бойтесь

Первое и главное – не паникуйте. Не запугивайте себя и других ожиданиями «нового 1937 года», «волчьего билета» и прочими миражами из прошлого.

Когда-то я сама была в роли «протестующей молодежи». Нас было несколько человек на двухмиллионный город, поэтому вниманием карательно-воспитательных органов мы обделены не были. Личный эскорт из граждан в штатском, беседы со всякими чинами. Помнится, один пожилой полковник мне даже Некрасова цитировал, про чахотку и Сибирь. Специально выучил, наверное, готовился к разговору с филологом.

А уж факультетское начальство как старалось! В моем случае пикантность ситуации была в том, что я к началу движухи была «гордостью факультета» (филологического факультета Ташкентского университета). Ленинская стипендия, призовые места на Всесоюзной олимпиаде, член Ученого совета от студентов, полный набор. То есть все оказывалось вдвойне сложно. Выгнать сложно, заткнуть сложно, не замечать нельзя. Они крутились как могли, ну, очень старались. Вспоминаю беседы с деканом да парторгом. Старые спивающиеся ловеласы

(филфак же), псевдоученые без единой собственной мысли, бывшие троечники, получившие посты благодаря сотрудничеству с органами, призывали меня не губить свое будущее. Это уже тогда было не страшно, а смешно и противно. Через два года они «потеряли» свои партбилеты, через пять остались без работы, через еще сколько-то померли от цирроза. Кому-то из нас точно не следовало губить свое будущее.

Так что – не бойтесь. Вашим детям еще жить и жить, еще много где и много чему учиться, менять работы и профессии, города и страны. Никакая малообразованная тетка с дурными манерами, вообразившая себя завучем или деканом, не может сломать им жизнь. Мелкие пакости, которые они готовы сделать ради шанса оставаться у бюджетной кормушки, – их потолок. Если ребенок ваш с головой, он себя в жизни найдет. И критичность мышления, опыт преодоления страха, опыт сложных переговоров, опыт защиты своих прав пригодится ему в этом куда больше их второсортного диплома.

Не просите

Моя семья была совсем не в восторге от моих «фокусов». Они не понимали, зачем мне это надо, они спорили, возмущались, упрекали. Я только теперь, задним числом, понимаю, как они боялись. Но когда моей маме позвонили «оттуда» с угрозами «сообщить на работу», перемежающимися приторной озабоченностью «судьбой хорошей девочки, которая запуталась», она как-то так ответила, что этот звонок был первым и последним. Жалею, что не спросила тогда и не записала дословно.

Когда меня пытались не допустить до госэкзамена и оставить без диплома, она разумно не стала тратить время и нервы на мелкое начальство, и пошла сразу на прием к проректору, человеку явно неглупому, причем не с просьбами «не губить девочке жизнь» и извинениями, а с вопросами. Примерно такими: что, собственно, оценивается на государственном экзамене, знания или взгляды? И если претензий к знаниям нет, то как понимать попытки оставить ее дочь без диплома на основании ее взглядов? И как так вышло, что пять лет всех все устраивало, были «пятерки» и Ленинская стипендия, а теперь вдруг готовы аж диплом не дать? Все пять лет всем факультетом ошибались? Или сейчас неправы? На дворе был 1989, вопросы были неудобные. В итоге все ограничилось тем, что диплом дали синий, а не красный.

Помните, у ваших детей есть право на мирное ненасильственное выражение своей позиции. Вам не нужны «вхождение в положение» и лицемерное сочувствие. Вам нужно соблюдение прав вашего ребенка. Или пусть прямо скажут, что выдают диплом и ставят оценки за верноподданнический образ мыслей, тогда пусть напишут это на сайте и в Уставе учебного заведения. Или пусть не смешивают учебу с политикой и занимаются своим делом – учат и оценивают знания. Если переговоров недостаточно – обращайтесь к помощи юристов. Какими бы ни были наши суды, сама по себе перспектива разбирательства – серьезный аргумент за то, чтобы с вами не связываться.

Многие из нас умеют вести переговоры и занимать принципиальную позицию в своей профессиональной деятельности, а при общении с учебными заведениями и госструктурами проваливаются в позицию жертвы. Не делайте так. Все эти люди получают zapлату из ваших налогов. За то, что учат или охраняют ваших детей, а не за то, что форматируют им мозг.

Не сдавайте

Молодые бывают смелыми и даже безрассудными, но впервые попадать под пресс все равно всегда тяжело. И очень сложно держаться, если семья тоже – не тыл, а фронт. Не играйте с карательно-воспитательными органами в молот и наковальню, которыми прессуют ваших детей. Молот иногда не остановить, но без наковальни он много не намолотит.

За несколько лет до моей истории в нашем городе была протестная акция студентов отделения крымско-татарской филологии. Это было единственное место в стране, где можно было изучать крымско-татарскую культуру. И его решили закрыть. Студенты объявили забастовку и голодовку, забаррикадировались в аудиториях и несколько суток там просидели, уже не вспомню точно, чем дело разрешилось. Но хорошо помню, как эти ребята потом рассказывали, что люди в штатском сразу пошли по домам. И стали их родителям, бабушкам и дедушкам, глубоко религиозным мусульманам по большей части, рассказывать и намекать, сочувственно-озабочено, что вот, мол, там ночью вместе сидят парни и девушки, неизвестно чем занимаются, и как родители такое допускают, и что люди подумают. Так вот, не было ни одного дома, из которого их не выставили бы в более или менее грубой форме. Никто не

стал с ними обсуждать вопросы нравственности и репутации дочерей, хотя людям давили на очень чувствительные для них точки. Я помню, с каким теплом и гордостью ребята цитировали своих грозных бабушек и отцов, у которых, бывало, с подружкой в кино вечером не отпросишься: «Мы своим детям верим, они сами знают, что делают, выход вот там».

Конкретные ситуации могут разрешаться так или иначе, значимость поводов со временем теряется, а отношения остаются. Знание о том, что тебя не сдали, – остается. Я, например, сейчас уже плохо помню, как точно развивались события, что в каком порядке происходило. А людей, их слова и лица – помню. Бегающие глазки человека, которого до той минуты я очень уважала, директора моей родной школы, куда я хотела пойти работать после диплома, и все было уже договорено. «Меня вызывали... мы не можем... учитель – это не только предмет... будет лучше, если ты...» И другой человек – преподаватель, поди ж ты, научного коммунизма. Я даже имени его не помню, прогуливала безбожно его пары. Но когда началась заваруха, он вдруг сам нашел меня за неделю до сессии, и попросил зачетку. Быстро, молча, прямо в коридоре на подоконнике поставил «отлично» автоматом, сухо попрощался и ушел. Меня тогда не очень беспокоила судьба моего диплома, но я смотрела во все глаза, как взрослые вокруг делают свой выбор. Это было важно и поучительно.

Вы можете быть не согласны с мнением и позицией своего ребенка, вы можете считать, что игра не стоит свеч, что было бы лучше поступить иначе. Вы можете попробовать его переубедить или предложить другой вариант, например, отъезд или «малые дела». Но если над ним занесут молот – не сдавайте его. Пусть он знает, что на вас можно рассчитывать.

И уж точно не становитесь наковальней, не устраивайте семейных разборок с угрозами, упреками и шантажом. Вашему ребенку в этой ситуации нужно много душевных сил, нужны спокойствие и трезвая голова.

Если вы педагог, не позволяйте делать из себя молот. Особенно если дети вам доверяют. Ваша трусость или ложь могут нанести им больше вреда, чем проблемы с администрацией. Вас не могут заставить. Или пусть запишут это в должностных обязанностях: обеспечить политическое единомыслие.

Не обесценивайте

Если вы хотите обсудить с детьми их взгляды и решения –

делайте это уважительно. Мы говорим о людях старше 15–16 лет, то есть почти уже взрослых. Закон считает, что они способны отвечать за свои поступки. Это подразумевает способность делать суждения и предвидеть последствия.

Более того, они входят в мир, в котором им жить. Это на их головы упадут все последствия наших ошибок и нашего бездействия. Это их образование, здоровье, рабочие места, путешествия превращаются в чьи-то дворцы и яхты. Это их будущее загоняют в прошлое. Они имеют право об этом думать и говорить.

Вы можете быть не согласны с идеями и с методами, но не отрицайте их право иметь и выражать свое мнение. Не давите, не прессуйте, не ставьте ультиматумов. Выясните, что они думают, как аргументируют.

Не обесценивайте, не используйте сарказм. Этим вы только усилите протест и потеряете контакт. А возможно, и спровоцируете на более радикальные действия.

Не считайте и не называйте своего ребенка ненормальным, глупым или неблагодарным. Протест, риск, желание изменить мир – нормально и хорошо для его возраста, тем более в нашем случае. С вашим ребенком все в порядке.

Не обвиняйте его в происходящих неприятностях. Участвуя в мирном протесте, он действует в рамках своего конституционного права; если у него возникли проблемы, в этом виноват не он, а те, кто его незаконно преследует. Не спускайте собак на и так несправедливо пострадавшего.

Не оскорбляйте ребенка предположениями, что им манипулируют, что он не хозяин своих мнений и действий. Нынешняя молодежь, с пеленок знающая слово «фейк», намного скептичнее нас с вами. А оскорбительнее, чем отказ в субъектности, для юного человека нет ничего.

Не ведите гражданскую войну в семье

К этому часто склонны как провластно, так и оппозиционно настроенные родители. Нам кажется, что дети обязаны разделять наши ценности, видеть мир под тем же углом. Но на самом деле убеждения и ценности только тогда могут так называться, если они свои собственные. Если ты их выбрал и выработал сам.

Дело родителей – вырастить детей в любви и заботе, по возможности показывая им хороший личный пример. Это все. Убеждения человек формирует сам. Свои гражданские и политические выборы делает сам.

Не нужно стараться делать выросшего ребенка своим продолжением, который про все думает, как вы. Не надо изображать Маттео Фальконе или Тараса Бульбу. На дворе XXI век. Можно сохранять уважение и любовь, имея разные взгляды. Не склеивайте ни себя, ни ребенка с позицией. И вы, и он можете еще не раз изменить позиции и взгляды, а родными людьми вы останетесь навсегда.

Спорьте, если не согласны, или, наоборот, обходите горячие темы, но оставайтесь на стороне ребенка в главном: он имеет право думать и выбирать и может рассчитывать на вашу защиту.

Не верьте

Особенно, если дойдет до репрессивных мер, от исключений до задержаний и заведенных дел. Не верьте ни одному слову. Повесьте на стене фотографию бедной Вари Карауловой за решеткой и не расслабляйтесь под обещания «сделать как лучше для вашего ребенка». Ее родители поверили следователям – и вот результат (*девушке дали реальный срок – Л.П.*). Это непросто, профессионалы умеют сделать так, чтобы захотелось сотрудничать. Пообещают что угодно, войдут в положение, будут предупредительны и станут говорить о вашем ребенке с интонациями отеческой заботы в голосе. Не верьте. Ничего не рассказывайте, ничего не подписывайте без консультации со своим, вами лично найденным адвокатом.

Вникните в то, что на самом деле написано в законах и кодексах, в уставных документах учебных заведений – вам будут врать об этом. Если вашему ребенку нет 18 лет, или тем более нет 16, особенно тщательно изучите, на что он и вы имеете право в случае задержания или следственных действий. Ваша активность и грамотность – его лучшая защита.

Всегда спрашивайте себя, обязаны ли вы вообще разговаривать с данным человеком или группой лиц. Вас будут желать поучить быть хорошими родителями все, кому не лень. Вам это нужно? Вы не обязаны ходить ни на какие беседы и комиссии, куда вас будут приглашать. Приглашение тем и отличается от предписания, что его можно не принимать, что бы вам ни говорили. А предписания вам мало кто имеет право выписывать, только следователь и суд.

Если все же считаете нужным побеседовать, переводите разговор с обсуждения ребенка на обсуждение их действий. Задавайте вопросы. Требуйте обоснований. Отсекайте не относящиеся к делу темы вроде «разве мы не стали жить лучше,

чем в 90-х». Стали или не стали, угрозы и давление на учащегося за политические взгляды неправомерны. Ведите себя корректно и прекращайте разговор при любых попытках повышать голос, угрожать и оскорблять вас или ребенка. Спокойная, но твердая манера вести диалог сделают вас неудобным партнером по манипуляции, и вас перестанут беспокоить.

Будьте осторожны со СМИ, особенно с телевидением. Если не уверены, что сможете полностью контролировать ситуацию вплоть до каждого слова, лучше вообще не общайтесь. Или давайте короткие заранее продуманные и согласованные с адвокатом комментарии. Помните, вы не обязаны удовлетворять ничье любопытство. Отказ отвечать – ваше полное право, это не означает, что вы или ребенок в чем-то виноваты.

Не оставайтесь в изоляции

Знакомьтесь и общайтесь с другими родителями. Поддерживайте друг друга, обменивайтесь ценной информацией, пишите совместные заявления и жалобы. Поверьте, с группой даже из трех активных грамотных родителей не станет связываться ни один начальник.

Найдите контакты правозащитных организаций, они помогут с выбором адвоката.

Обращайтесь к уполномоченным по правам ребенка, если речь идет о несовершеннолетнем.

Сообщайте о происходящем СМИ, которым доверяете. Пишите в социальных сетях о случаях произвола, но будьте осторожны с изложением событий – любое слово или изображение может быть использовано против вашего ребенка, если дойдет до процесса.

Обращайтесь за поддержкой к знакомым, друзьям и к обществу в целом. Вам могут понадобиться организационная и финансовая помощь, просто добрые слова. А если у вас все пока хорошо, поддержите финансово организации, занимающиеся защитой задержанных. У них нет других денег, кроме пожертвований граждан.

Проявите заботу

Спросите, знает ли юный протестующий, как вести себя в той или иной ситуации, знает ли свои права и требования закона.

Обсудите правила безопасности в социальных сетях. В каких-

то случаях можно осознанно идти на риск, нарушая противоправный запрет, но очень глупо подставиться просто по недомыслию.

Обсудите риски пребывания в толпе, что делать в случае возникновения паники, провокаций, как помочь себе и другим, если стало плохо. Обсудите границы ненасильственных действий, обратите внимание, что в российской реальности можно всерьез пострадать за безопасные жесты вроде брошенной пустой пластиковой бутылки.

После участия в акциях, возможно, придется провести сутки или более в не самых комфортных условиях. Обсудите, как следует одеться и что обязательно взять с собой, особенно если нужны какие-то медикаменты или средства гигиены.

Убедитесь, что ребенок знает, кому и как сообщить и как себя вести, если вдруг придут домой, если прямо из школы повезут «беседовать», если будут требовать подписать какие-то документы, заявления и т. п.

* * *

Напоследок воспоминание совсем забавное: еще до того, как все понеслось, кажется, в 1987-м, меня в какой-то момент пригласили на мою любимую кафедру современного русского языка и несколько смущенно рассказали, что пришло приглашение делегировать одного сильного студента в научную группу, которая будет составлять самый-пресамый полный словарь языка В. И. Ленина. Это будет огромная работа, с большими перспективами, издание должно выйти к 100-летию Октябрьской революции, то есть как раз в 2017 году. И этому эпохальному труду мне предлагалось посвятить 30 лет моей единственной жизни.

Я помню, что несколько обалдела. От удивления, что кто-то всерьез верит, что это самое 100-летие будет отмечаться как праздник. Что кто-то может ожидать от не самого глупого студента, что он захочет таким заняться. Мы обменялись с завкафедрой понимающими взглядами, вслух я сказала, что лексикография – это не мое, но в изумлении от человеческой глупости пребывала еще долго.

Держите масштаб. Жизнь длинная. Все меняется. Иногда дети видят дальше взрослых. Но взрослые всегда нужны, чтобы быть их тылом.

Взрослые – это мы.

Глава 2

Сиротство, приемные дети, благотворительность

Найдите 10 отличий

28 мая 2009 г.

Была в красивом городе Ярославле, проводила семинар для специалистов по особенностям детей из детских домов. Специалисты разные были, и психологи, и соцпедагоги. В начале семинара спрашиваю: каковы были ваши первые впечатления, когда вы пришли на эту работу, что это за дети, какие они?

Начали все по очереди вспоминать и рассказывать.

Соцпедагог из приюта, куда привозят детей сразу после изъятия, и они там не больше года живут, говорит: они очень самостоятельные, слишком взрослые, рассуждают и ведут себя, как будто на пару лет старше, чем есть. Грустные, перепуганные. Но удивительно легко приспосабливаются ко всему. Умеют о себе позаботиться. Очень родителей любят, жалеют, оправдывают во всем, беспокоятся о них, мечтают, как вырастут и будут помогать. Запомните этот словесный портрет. Это ДЕТИ НА ВХОДЕ.

Круг идет дальше, говорят другие участники, и вот выступает соцпедагог из интерната, в котором дети уже по многу лет находятся, подростки в основном. Они, говорит, инфантильные ужасно, несамостоятельные, к жизни не готовы, не могут о себе позаботиться, ждут, что им все дадут готовое. К людям тоже отношение потребительское – а что мне от тебя за польза? Сообщаешь, что мать умерла, – радуются, ведь теперь еще и пенсия будет поступать, денег на сберкнижке больше. Кого-то родители хотели обратно забрать, восстановиться в правах, так дети сами не хотят, там надо будет работать, помогать, а здесь все готовое, шефы подарки дорогие привозят. Это описание ДЕТЕЙ НА ВЫХОДЕ.

Только вдумайтесь: огромная, очень дорогостоящая государственная машина «защиты сирот» по сути просто делает из тех детей вот этих. Из травмированных, но нормальных, жизнеспособных, высокоадаптивных, добрых и любящих – делает, прошу прощения, моральных уродов, которые радуются, что мать умерла и что пенсия. На это тратятся огромные деньги, ради этого по всей стране ходят на работу десятки тысяч людей. Вот ради такого результата.

Понимаете, участницы семинара вовсе ничего такого в виду не имели и никаких красок не сгущали. Они детей этих любят, и тех, и других, просто честно описали свои впечатления, сами даже не заметили контраста, пока я не охнула. Меня, честно, пробило. Вроде знала это все, но так наглядно...

19 мая 2009 г.

Скандал вокруг жестокого обращения с детьми в Кимовском детском доме Тульской области получил широкую огласку. Безусловно, хочется выразить уважение священнику о. Сергию, который не ограничился утешением своих подопечных и сделал эти факты достоянием общественности и правоохранительных органов. Надеюсь, что судьбы директора детского дома И. В. Карпенко и его покровителей теперь будет решать суд. Хочется также надеяться, что суд этот будет беспристрастным.

Однако было бы очень жаль, если бы в общественном сознании вся история свелась к садизму и бесконтрольности отдельного директора, и все сделанные выводы касались бы только данного педколлектива. Карательная, или, говоря мягче, «воспитательная», психиатрия в учреждениях для детей-сирот – давняя и очень прочная традиция. См., например, известный доклад «Пути отчаяния», сделанный по результатам обследования сиротских учреждений иностранными экспертами ровно 20 (!) лет назад. Приходится признать, что с тех пор немного изменилось. Невозможно избавиться от этой бесчеловечной практики, не выявив ее причины и не предложив действенных механизмов защиты. Оставим по возможности в стороне «человеческий фактор», то есть склонность к злоупотреблению властью, нелюбовь к детям, жестокость, нечестность и т. д. каких-то конкретных людей. Попытаемся посмотреть на проблему системно. Есть несколько факторов, которые делают традицию воспитательной психиатрии столь живучей.

1. Отношение к любым трудностям в поведении обучении детей, особенно детей-сирот, как к медицинской проблеме, а не как к педагогической.

Это отношение уходит корнями еще в практику советской карательной психиатрии, когда Н. С. Хрущевым был выдвинут тезис о том, что в стране победившего социализма просто по определению не может быть недовольных и несогласных – только больные. Тот, кто все же не согласен и не доволен, просто не в своем уме и нуждается в лечении. И если карательная психиатрия во взрослом мире с самого начала осуждалась мировым сообществом, а после крушения режима была осуждена и в России, то за стенами сиротских учреждений она осталась практически нетронутой и сохранилась до наших дней, о

причинах этого скажем немного ниже.

Трактовка трудного поведения и трудностей в обучении как проявлений «болезни» очень удобна. Ведь тогда с этими трудностями не надо справляться, не надо даже пытаться ничего делать для ребенка: как известно, олигофрения не лечится. Истерики, агрессия, неуправляемое поведение, нежелание учиться и трудности в учебе можно объявить не следствием неправильной системы воспитания, образования и организации жизни детей в учреждении, не результатом низкой квалификации, халатности или профнепригодности персонала, а просто болезнью. И вопрос закрыт. Как нередко приходится слышать от сотрудников сиротских учреждений: «А чего вы хотите от таких детей?» Подлинный смысл этих слов: не надо ничего хотеть и требовать от нас. Дети безнадежно больны, сделать ничего нельзя, можно только временно «обезвредить» их препаратами. Между тем шефы, волонтеры, родные, которые общаются индивидуально и ответственно с детьми, часто прекрасно находят с ними общий язык, добиваются больших результатов в обучении, хорошо справляются с трудным поведением тех же самых детей. И без всяких лекарств. Более того, в случае устройства детей в семью в большинстве случаев «безнадежные диагнозы» становятся просто неактуальны, дети демонстрируют большие возможности к обучению и развитию, у них проходят истерики, агрессия, аутоагрессия, депрессивные состояния. Хотя это те же самые дети. Приемные родители обычно со временем полностью снимают их с препаратов, прописанных психиатрами, и состояние детей только улучшается.

Практика показывает, что у большинства детей если есть патологические реакции, то они вызваны не органическими поражениями мозга, а реакцией на ненормальные, патологические условия жизни. Сколько продержался бы любой здоровый взрослый без срывов и истерик, если бы вынужден был постоянно находиться в группе людей, жить по жестким, часто абсурдным правилам, без права на личное пространство, на возможность распоряжаться собой, без поддержки родных и близких? Ответ на этот вопрос дают разнообразные реалити-шоу, в которых участники, помещенные в подобные условия, начинают срываться и впадать в агрессию уже через несколько дней. Причем это взрослые, абсолютно здоровые люди, которые сами на это пошли, и которые знают, что как бы тяжело ни было, это только временно, а где-то у них есть нормальная жизнь, семья, своя комната, свобода. Что же ждать от детей, у которых всего этого нет не только сейчас, но и вообще?

2. Существующие механизмы ответственности за принятые решения всегда работают против ребенка.

Посмотрим на ситуацию с точки зрения сотрудника учреждения. Вот подросток, который в истерике кричит: «Чем так жить, лучше сдохнуть!» (как мы видели, у него есть все основания так думать и чувствовать). На самом деле такое иногда кричат и семейные, любимые и благополучные подростки – издержки возраста. Но родители обычно хорошо знают своих детей и могут отличить просто истерические выкрики от глубокого отчаяния. Воспитателю это сделать гораздо сложнее. А главное – что произойдет, если он ошибется? Оказывается, смотря в какую сторону.

Если это просто истерика, но воспитатель (директор) решит «перебдеть» и подростка направят на принудительное лечение в связи с «суицидальными намерениями», – чем это грозит самому воспитателю? Ничем. Пострадает, будет мучиться, получит побочные эффекты от лекарств и еще один опыт унижения и беспомощности только ребенок. Никакой ответственности за необоснованное помещение воспитанника в психиатрическую больницу взрослый не несет, да и кто станет доказывать необоснованность?

А теперь представим себе, что педагог рискнет «недобдеть», а все окажется серьезно и подросток попытается покончить с собой. Последуют проверки, расследования, санкции, увольнения и т. д. С воспитателя спросят, куда смотрел, почему упустил. Он должен будет доказывать, что пытался предотвратить беду, при этом такие его усилия, как душевный контакт с ребенком, доверие, готовность выслушать, никак документировано доказать невозможно, для проверяющих их все равно что нет (хотя только это могло бы в действительности предотвратить трагедию). Зато направление на лечение – вот оно, это документ, который подтверждает работу по спасению сироты от гибели.

Таким образом, мы видим, что сам механизм ответственности устроен таким образом, что дети просто обречены на принудительные госпитализации при любых эмоциональных и поведенческих проблемах, даже если педагог не рассматривает это как карательную, дисциплинарную меру, а просто хочет «обеспечить безопасность ребенка» – а на самом деле избежать ответственности. Для того, чтобы в подобной ситуации вести себя иначе, нужно иметь или незаурядное мужество и профессиональную честность, или искренне любить и жалеть ребенка. Такое тоже бывает, но вписать эти замечательные качества в должностную инструкцию невозможно, а значит, рассчитывать на них в деле изменения системы невозможно тоже.

Спасибо, что благодаря таким людям удастся избежать общей участи хотя бы некоторым детям.

Не менее странно обстоит дело с ответственностью психиатрических клиник за результаты лечения. Здравый смысл говорит, что врачи существуют, чтобы либо лечить болезни и добиваться выздоровления, либо, если это невозможно, облегчать страдания и улучшать качество жизни. Если само лечение неприятно и болезненно, сопровождается побочными эффектами, это должно быть оправдано лечебным результатом. Что же происходит с психиатрическим лечением, по крайней мере, в случае принудительной госпитализации детей из сиротских учреждений? Ребенок помещается в больницу с каким-то диагнозом. В течение нескольких месяцев он подвергается лечению, иногда очень мучительному, например, инъекциям аминазина, заведомо не приносящему улучшения. И выходит из больницы... с тем же диагнозом, с последствиями от побочного действия лекарств и с еще худшим самочувствием (правда, с более «удобным» поведением – тихий и подавленный). Что бы мы сказали, если бы, привезя в больницу ребенка с воспалением легких, через месяц получили бы его обратно со словами: «Да, мы подтверждаем: у него действительно воспаление легких. Мы каждый день давали ему слабительное и делали кровопускание, очень-очень старались. Зато посмотрите – теперь он совсем не кашляет, у него уже на это сил нет?»

Моей квалификации недостаточно, чтобы критиковать конкретное назначение препаратов или рекомендовать другие схемы лечения. Я лишь хочу отметить абсурдность происходящего. Ни один из нас не позволил бы лечить себя или своих детей подобным образом. Никто не согласился бы «на всякий случай», «в профилактических целях» (а именно так нередко назначают аминазин) пройти мучительный многодневный курс лечения с тяжелыми побочными действиями. Однако с точки зрения врача все выглядит иначе. Если он проведет ненужное лечение – с него никто не спросит (с родительским ребенком такое было бы невозможно, особенно в случае побочных действий, а из-за сироты – кто будет возмущаться?). Если не проведет, а с ребенком что-нибудь случится, хотя бы та же попытка суицида, врачу не поздоровится. Пусть даже вероятность этого минимальна, но зачем рисковать? К тому же раз уж ребенок госпитализирован, надо с ним что-то делать.

Как мы видим, существующие механизмы ответственности работают так, что ни педагогам, ни врачам вовсе не надо быть садистами и деспотами, чтобы «воспитательная» психиатрия

процветала. Так заданы сами параметры оценки работы.

3. Антиинтегративная, «сортировочная» модель воспитания детей-сирот.

Попадая в систему институционального воспитания, ребенок в первую очередь проходит систему сортировки. И попадает либо в учреждение для «нормальных», либо в учреждение с названием «коррекционное». Последние, в свою очередь, тоже бывают нескольких видов: для слабослышащих, слабовидящих, умственно отсталых и т. д. Те, кого не взяли даже в «коррекционку», отправляются в дома инвалидов.

Надо сказать, что название «коррекционное» – вполне оруэлловское. Потому что никто и никогда не ставил перед этими учреждениями целей «коррекции», то есть восстановления до нормы, компенсации слабых сторон за счет развития каких-то других (это не всегда относится к коррекционным учреждениям для семейных детей, там встречается другой подход). В слове «коррекция» содержится смысл «улучшение», «выправление», «движение вверх, к лучшему». В реальности движение ребенка в системе может быть только вниз. Есть немало детей, попадающих из «нормы» в «коррекционку», а потом в дом инвалидов, но практически нет совершивших обратное движение.

Цель «сортировки» – вовсе не обеспечение индивидуального подхода и лучших условий развития. Ребенок с реальной или подозреваемой легкой умственной отсталостью не станет более развитым и умным от того, что его поместят среди других таких же. Глухонемой ребенок не научится общаться с говорящими людьми, если его держать в группе глухонемых. Зато это удобно для системы. Для составления штатного расписания, для отчетности, для организации учебного процесса. Удобнее посадить сурдопедагога на ставку туда, где много глухих детей. А организовывать индивидуальную работу сложно и хлопотно.

Приходится признать, что у сортировки есть только одна цель – собственно сортировка. Ребенок входит в систему не как человек, а как диагноз, ярлычок на медицинской карте: «слабовидящий», «умственно отсталый», «инвалид». Момент постановки диагноза означает для ребенка вовсе не стартовую точку, вовсе не обозначение проблемы, с которой предстоит работать, засучив рукава. Напротив, это объяснение и оправдание, почему работать НЕ НАДО. Это заданный потолок, выше которого не бывать никогда. И здесь мы опять выходим на проблему ответственности. Если ставить цель «максимально развить способности данного конкретного ребенка и адаптировать его к жизни», это означает – отвечать за результат.

А если изначально установить низкий потолок, можно ничего особо не делать, работать по стандартным методикам, не расстраиваясь из-за отсутствия результатов: «А чего вы хотите от ТАКИХ детей?».

Не буду здесь останавливаться на критике самой процедуры сортировки, пресловутых МППК, о которых уже много и справедливо писали мои коллеги. Замечу лишь, что здесь тоже никого не интересует истина, главное – быстрая и удобная сортировка, и чтобы потом не передумывать.

Так или иначе, до тех пор, пока важнейшим показателем успешности учреждения будет число отработанных занятий и проведенных мероприятий, а не реальная динамика достижений их воспитанников, пока нежелание ребенка учиться и любые другие трудности в его развитии будут рассматриваться не как педагогическая задача, за решение которой отвечают взрослые, а как медицинская проблема самого ребенка, будет продолжаться практика сортировки и эскалация диагнозов в сторону все большей тяжести. А диагнозы – прямая дорога к дисциплинарной психиатрии, поскольку они делают невозможным опротестование необоснованного «лечения», ведь ребенок и вправду «совсем больной».

4. Отсутствие представления о работе с детьми-сиротами как особой квалификации, отсутствие системы профессиональной подготовки кадров для этой работы.

Выше речь шла о том, что проблемы ребенка должны рассматриваться прежде всего как педагогическая задача, профессиональный вызов работающим с ним взрослым. Не так уж сложно учить детей счастливых, здоровых, способных и покладистых. Однако среди сирот такие встречаются редко. Нет у них оснований быть такими. Работать с детьми, ранеными судьбой, надо уметь, многое о них надо знать и понимать.

И вот тут встает вопрос – откуда? Сегодня в России не существует такой педагогической специализации – работа с детьми-сиротами. Нет курсов, обучающих правильному поведению с ребенком, страдающим от эмоциональной депривации, перенесшим потерю родной семьи, бывшему жертвой жесткого обращения. Не зная, не понимая внутреннего мира этих детей, скрытых «пружин» их поведения, очень легко принять их поведение за «ненормальное». Потому что для человека непосвященного оно именно так и выглядит. Вопрос в другом: как так получается, что с сиротами работают непосвященные? Что 95 % воспитателей, руководителей, а кое-где и психологов сиротских учреждений не знают, кто такой Боулби и

что значат слова «депривация» и «госпитализм»? Не знают признаков и закономерностей протекания детского горя – это люди, к которым ребенка привозят после изъятия из семьи, часто в состоянии шока? Искренне уверяют, что у их воспитанников есть «гены проституции», или «плохая карма», или что ребенку «лучше в детдоме, чем с непутевой мамашей»?

Представим себе, что детей, больных лейкозом, возьмутся лечить педиатры общей практики. Если ребенок слаб и бледен, рассуждает такой врач, наверное, переутомился. Его тошнит – несварение, конфет переел. Температура – простыл, наверное. Абсурд? Конечно. Врач плохой? Вовсе нет. Он просто исходит из своего образования, для любых других детей с вероятностью 99 % его диагнозы и предлагаемое лечение были бы абсолютно верны. Причем врачу все же легче – убедившись, что ребенку становится только хуже, или заметив какие-то дополнительные симптомы, он поймет, что ситуация вышла за пределы его компетенции и отправит больного на консультацию к коллегам. А куда отправлять ребенка-сироту педагогам, которые с ним не справляются, и квалификации соответствующей не имеют?

Согласитесь, парадокс: приемных родителей, даже с высшим педагогическим образованием, отправляют на Школу приемного родителя, и это очень мудро и правильно. А воспитатель, которому предстоит иметь дело с целой группой сирот, может прийти к детям прямо со скамьи педвуза, или из обычной школы, детского сада, техникума.

При ближайшем рассмотрении многие случаи «неадекватного» поведения детей есть просто случаи, когда взрослые не смогли справиться с этим поведением. И разумно было бы повышать способность взрослых справляться, а не «лечить» детей. Есть педагоги, у которых дети никогда или очень редко ведут себя «неадекватно». Они добиваются этого не магией, а собственным профессионализмом, определенным стилем поведения, отношения к детям. Все это можно в себе развивать, всему этому можно обучать. И среди сотрудников учреждений есть немало тех, кто хочет и готов учиться. Необходимо такое обучение им предложить, чтобы дети не становились жертвами педагогической беспомощности взрослых.

5. Закрытость сиротских учреждений от общества, концентрация всей ответственности за детей в руках руководителя учреждения.

Почему карательная психиатрия, осужденная как практика наказания взрослых, по-прежнему процветает в детских учреждениях? В первую очередь потому, что о ней не так много

известно. Дети, в отличие от пострадавших диссидентов, не имеют возможности рассказать в прессе о том, что им пришлось пережить, у них нет родных, близких, друзей, которые могли бы вступить, возмутиться, подать в суд, наконец. Кроме того, у многих из этих детей в медицинских картах с рождения стоят официальные диагнозы: «энцефалопатия», «олигофрения», «алкогольный синдром плода» и т. д. С точки зрения обывателя, они и вправду все больные, почему бы им не лежать в психбольнице?

Дети содержатся в учреждениях в полной изоляции от общества: чем серьезнее статус учреждения, тем выше забор вокруг, тем меньше возможностей у детей видаться с другими людьми, пожаловаться, попросить помощи. Волонтеры и шефы часто боятся «выносить сор из избы», чтобы не испортить отношения с руководством учреждения, которое имеет полное право в любой момент вообще запретить общение с детьми и их поддержку. У волонтеров нет никаких прав, их статус никак не определен. Их общение с ребенком полностью зависит от доброй воли администрации. В этой ситуации общественный контроль за жизнью детей в учреждении практически невозможен.

Второй, неразрывно связанный с этим аспект проблемы – это то, что руководитель сиротского учреждения является единственным и полноправным представителем всех своих воспитанников. Это значит, что в его руках могут быть судьбы от 50 до 300 детей. Такой объем ответственности противоестественен, даже в самой многодетной семье одновременно несовершеннолетних детей не бывает больше 15–20. Отвечать за большее число детей, вершить их судьбы, и при этом не стать жертвой профессионального выгорания и профессиональной деформации практически невозможно. Известно, что власть развращает, а абсолютная власть развращает абсолютно. Факторы «роста абсолютности власти» очевидны: чем меньше детей поддерживают внешние связи (ходят в гости, общаются с родными, с шефами), чем более сами дети зависимы и ограничены в способностях (например, дети-инвалиды, особенно с интеллектуальными проблемами или лежащие), чем выше степень закрытости учреждения (а она напрямую зависит от тяжести диагнозов детей), тем больше злоупотреблений там будет. Даже если изначально на работу устраивались вполне приличные люди.

Лекарство от этого только одно – открытость и распределение ответственности. Необходимо законодательно прописать права и обязанности шефов. Нужен закон о возможности совместной с руководителем учреждения опеке над

ребенком одним или несколькими шефами. При этом распределялись бы обязанности по воспитанию и развитию ребенка: например, шеф обязуется возить его на занятия в кружок, делать с ним домашние задания, еще что-то. Учреждение после заключения такого договора не может препятствовать контактам воспитанника с шефом, но и шеф не может приходить по принципу «когда вздумается». Естественно, такая система должна предусматривать специальную подготовку шефов.

Необходимо также предусмотреть и законодательно прописать механизмы общественного контроля за деятельностью сиротских учреждений. Например, таким механизмом может быть попечительский совет. Категорическое нежелание администрации впустить на территорию учреждения представителей общественности и организовать с ними взаимодействие в интересах детей и в определенных рамках должно настораживать СМИ и правоохранительные органы и немедленно становиться поводом для организации проверки учреждения.

В заключение. Никакое самое лучшее учреждение не заменит ребенку семьи. Поэтому лучшим способом уничтожить воспитательную психиатрию было бы широкое развитие семейного устройства детей, а если и сохранение учреждений, то только как очень небольших, семейного типа. Однако эта задача явно не будет решена в ближайшие пару лет. Дети же живут и растут в сиротских домах прямо сегодня. И главное, что нужно сделать срочно, – в первую очередь прекратить практику их дальнейшего травмирования и снижения их способностей к развитию и адаптации. Им и так есть что преодолевать в жизни, даже если им еще и повезет обрести семью. Недопустимо, что система общественного призрения, которая должна бы помогать и реабилитировать, лишь калечит и загоняет ребенка все ниже и ниже по сортировочным «ступенькам». (Подробности: <https://regnum.ru/news/society/1164917.html>)

Защита детей становится жестоким обращением

11 августа 2009 г.

Непосредственным поводом для этого поста стала ситуация с изъятием ребенка у усыновителей Лапиных, описанная в «Новой газете». (<https://novayagazeta.ru/articles/2009/08/10/41801-simpatyashka>)

У меня нет возможности проверить достоверность приведенных в статье фактов. Но подобные сообщения в последние месяцы приходят постоянно. Недавно мне пришлось лично участвовать в разборе сходной ситуации в Москве. Только там сотрудники опеки отбиваются до сих пор, как могут, и ребенка не забирают, а на них давит прокуратура. Пока ребенок в семье, не буду называть никаких подробностей, есть надежда, что обойдется. Если вынудят забрать – буду поднимать шум и просить у всех в этом помощи.

Но есть некоторые вещи, которые хочется назвать своими именами уже сейчас.

1. «Защита» приемных детей в семьях приобрела характер истеричной кампании. Я не знаю, кому она нужна и зачем. Я знаю: то, что происходит, называется жестокое обращение. Прерывание сложившейся привязанности всегда есть жестокое обращение и может быть оправдано только угрозой – непосредственной, а не теоретически возможной – жизни и здоровью. До тех пор, пока это не признано, не записано, не затвержено, подобные случаи будут повторяться.

2. Практика внесудебного изъятия детей из семьи, родной ли, приемной ли, должна быть прекращена. С ней можно было худо-бедно мириться, пока органы опеки бездействовали и не вмешивались до последнего. В ситуации административного вранья внесудебное изъятие стало представлять собой прямую угрозу здоровью и психике ребенка. А также жизни и здоровью других людей – я знаю как минимум один случай, когда бабушка необоснованно изъятых (родного) ребенка умерла от инфаркта. Боюсь, таких случаев больше.

3. Сегодня мы имеем абсолютно искаженную систему ответственности. Если с ребенком в приемной семье что-то случается, органы опеки виноваты. Если ребенок изъят «из перестраховки» или под давлением сверху, за нанесенную ему травму не отвечает никто. Между тем, сделать ребенка сиротой

второй раз ради каких угодно соображений, кроме непосредственного спасения его жизни, – должностное преступление. Пока это не будет так называться и иметь соответствующие последствия, решения всегда будут приниматься понятно в какую сторону.

4. Право ребенка жить и воспитываться в семье по-прежнему не рассматривается как приоритетная, а привязанность – как базовая потребности ребенка. Формально вводя практику семейного устройства, система по-прежнему игнорирует то, ради чего ребенок устраивается в семью. Это не кровать, не игрушки, не книжки и не распорядок дня. Это даже не физическая неприкосновенность. Изымая ребенка, например, после разового физического наказания, «защитники» исходят из того, что безопасность задницы важнее, чем безопасность души. Синяк на теле – это важно, а разбитое сердце – пустяк. Пусть те, кто так думает, уйдут от детей вообще. В патологоанатомы.

5. На наших глазах «защита» детей по сути становится очень удобным механизмом расправы – хоть по политическим, хоть по коммерческим, хоть по личным мотивам. Нам не привыкать к тому, что роли Спасателя и Насильника (*имеются в виду роли в треугольнике Карпмана – Л.П.*) сливаются в одно целое. У нас «органами безопасности» всегда назывались самые опасные для населения службы. Вот теперь и службы защиты детей занимаются киднеппингом. Получается, что сегодня каждый, у кого есть дети, имеет ахиллесову пятую. Это уязвимость такой степени, по сравнению с которой угроза тюрьмы или избиения – пустяк. Мы должны отдать себе в этом отчет прямо сейчас.

И последнее.

Прочитав множество различных обсуждений этой истории, я была не меньше, чем самой ситуацией, шокирована обилием высказываний типа: «не буду выступать в защиту, они (*усыновители, у которых забрали ребенка – Л.П.*) упертые коммунисты и мне не симпатичны». Или даже так: «А что ж они хотели, их история собственной партии ничему не научила?».

Знаете что? В этой ситуации абсолютно неважно, нравятся они нам с вами или нет. Они ребенку нравятся. Они ей симпатичны, что подтверждают все специалисты. А мы с вами как-нибудь переживем свои симпатии и антипатии про себя.

Не пора ли уже отучиться задавать идиотский вопрос: «по ком звонит колокол?» Вас история ничему не научила?

31 марта 2011 г.

Впечатлила вчера в Общественной палате постановка

вопроса: предложение сделать подготовку приемных родителей (в том числе усыновителей) обязательной отклонили, поскольку это «нарушает права граждан». Не потому, что в большей части страны некому их готовить и ШПР существуют только на бумаге, а много где так готовят, что лучше бы, может, и не надо, а потому, что «права нарушены».

Срезонировало с обращениями приемных родителей, которые азартно цитируют всяческие «Заповеди позитивного усыновления»: «это просто еще один способ пополнить семью». Ну, не «просто», и не «способ», и не может быть такого «права». Для того, чтобы кто-то мог «пополнить семью», должна сначала иметь место трагедия: смерть, предательство, распад семьи. Это не значит, что нужно на этом циклиться, но вот так легко отмахиваться – значит сдавать собственного ребенка, давать ему понять, что мне от тебя нужны только радости родительства, а свои трагедии оставь при себе, плиз. Это обычно очень грустно кончается – в подростковом возрасте ребенок жестоко бьет по всему этому «позитиву и конструктиву». Потом скажут, что «гены проявились». И никому ведь не объяснишь ничего за полчаса, когда люди на волне «борьбы за свое право» и «ой, какого хорошенького я увидела на сайте».

Нет, логика-то понятна.

Тезис: берут детей не от хорошей жизни, это от собственной бездетности («пустого гнезда», потери, нереализованности и т. п.), что же им еще делать, несчастным; ужас-ужас, как бы никто не догадался, привяжем подушку, сменим адрес, будем переживать про гены.

Антитезис: никакой не ужас, мы не бедные, и часто очень даже детные, и не надо тут причитать и стигматизировать, это «просто еще один способ», смотрите, как нам всем хорошо и весело.

Но и то, и другое чревато.

Синтез, наверное, в том, что таки-да, ужас. То, что есть дети, которым это нужно, – ужас. То, что они успели пережить, – ужас. И мы способны его осознавать и выдерживать, и быть вместе с ребенком в его страдании, и способны дать ему поддержку, чтобы он не застрял в своем страдании, а жил дальше и радовался, и нас радовал. Именно благодаря тому, что не несчастные, и часто вполне себе детные. И еще одно – сорри, но вам всем тоже придется научиться осознавать и выдерживать, потому что прятаться мы не станем.

Подготовка – это не про знания, это про разобраться внутри себя вот с этим самым.

Только где ее такую взять за пределами столицы и еще пары-

тройки городов?

7 июня 2011 г.

Слушайте, ну когда уже будет осознано, что держать детей раннего возраста в учреждении нельзя. Ну, нельзя просто, и все, надо на уши вставать, чтобы их забрали как можно раньше, а перед этим – чтобы не отдали.

Сколько женщин отдают просто от безысходности, потому что некуда с ним пойти, не на что жить, если не работать, и не с кем оставить, если работать. И те же деньги, что тратятся на дите в доме ребенка, на то, чтобы искалечить его эмоционально, обеспечить задержку развития и проблемы будущим приемным родителям, могли бы спасти его от сиротства, сохранив его у матери. Или, даже если потом мать все-таки не справится или не захочет, дав нормальный старт в жизни. Но как это сделать, если у нас полно молодых мам, которым, может, не вовсе некуда пойти и не совсем уж не на что жить, но очень-очень трудно, а пособие сами знаете какое.

Те же профессиональные семьи вообще не воспринимаются обществом и специалистами как способ решения проблемы. «Маленьких нужно усыновлять», – да, нужно, конечно, нужно, но не всегда получается быстро, и никто не даст гарантий ни про одного ребенка, что он не просидит в ДР до трех лет, и до пяти. Почему не растить таких детей в профессиональных семьях?

Потому что их, во-первых, нет и никто не ищет и не готовит. То есть вообще какие-то есть, но вот таких, что готовы были бы растить ребенка, сколько нужно, а потом передать усыновителям, я знаю единицы. И им бывает очень тяжело психологически, в том числе и потому, что вокруг смотрят косо: отдали ребеночка. Кстати, такие случаи учитываются у нас в статистике возвратов, если кто не знал.

И угадайте сами, как посмотрят сотрудники органов опеки на семью, которая придет с таким предложением: давайте мы возьмем двух-трех малышей, чтобы им не сидеть в учреждении, а вы пока ищите усыновителей, найдете – передадим. Хотя на таких людей молиться бы надо и землю рыть, чтобы их найти и привлечь к работе.

Да, социум съест с потрохами: детей взяли за деньги, «на передержку», «поиграли и отдали». То, что их растят за деньги воспитатели и няни, почему-то никого не смущает. То, что из дома ребенка их точно так же отдадут – хорошо, если в семью, а не в детский дом, – никому не приходит в голову ставить в вину сотрудникам. И что результат будет сильно разный, для ребенка –

судьбоносно разный, тоже никто не хочет брать в расчет.

Это, конечно, большой вопрос – а как же потом отдавать? Ведь ребенок привяжется?

Да вот именно, что привяжется. И будет знать, как это делается – на будущее. И сможет потом привязаться к постоянным приемным родителям, и к супругу, и к своим детям. Конечно, расставаться больно и ребенку, и профессиональной семье. Привязанность – это связь, которая не может быть разорвана без боли. Мы всегда платим болью за любовь, за то, чтобы быть живыми, так уж устроено. Можно облегчать расставание, передавая привязанность постепенно, можно думать, как сохранять связи, можно потом помогать ребенку собирать свою идентичность, связывая в единый узор части жизни, разные привязанности. Но это живая боль, с ней можно работать.

Зато ребенок депривированный, сидящий в манеже дома ребенка и механически машущий погремушкой, часто не выглядит страдающим. Сидит и сидит. К любому идет на руки, любой скажет «мама», слушается, не хнычет, не скандалит. Ну, пусть еще посидит, плохо ли. А мы подождем, вдруг придут усыновители. А когда придут, мы их того, протестируем как следует. А когда они его заберут и начнут огребать все, что у него накопилось внутри за месяцы и годы «благополучного» сидения в манеже, мы их пристыдим: что же это вы, взяли и не справляетесь? Надо было вас поостроже тестировать...

Десять лет, однако

7 октября 2011 г.

Вчера у меня был своеобразный юбилей. Ровно десять лет назад мы сидели за праздничным столом с тортом и свечами – был первый день рождения дочки. Она тоже сидела за столом, в детском стульчике и с бантом – как-то мы его прикрепили. Зазвонил телефон. Это была Мария Терновская, директор 19-го детского дома. Я там бывала раньше, еще до рождения Алисы, на тренинг даже ходила, потом на время ушла в мамские заботы. И вот звонит Мария Феликсовна и спрашивает, не хочу ли я пойти к ним психологом в службу патронатных воспитателей. И я прямо там, за столом, не думая ни минуты, говорю: «Да, хочу». Только сказала, что ребенок, на полную неделю не смогу. И согласилась.

И вот с тех пор.

Мама моя, помню, была в шоке: у меня ребенок, еще работа, и вообще: «Ты там не сможешь, это же несчастные дети, ты такая впечатлительная, нервы себе сорвешь, будешь болеть и все равно уйдешь». Маму, кстати, понять можно. Я и правда впечатлительная. И вообще всегда была тем самым «чувствительным ребенком», про которых психологи аж специально объясняют, как их растить, мимозно-орхидейных таких. У меня мог быть нервный срыв от прочитанной книжки, не говоря уже о каких-то реальных ситуациях, и вообще. Но почему-то в этой сфере я работаю и работаю, и темы, и ситуации – тяжелее некуда, и нагрузки бывают за гранью всякого разумного, а вот поди ж ты. Никакие нервы я себе не сорвала, болею не больше, чем раньше, и даже вроде не особо выгораю. Ну, в пределах. Каким-то образом получается пропускать через себя огромные потоки inferno, осознавая и чувствуя, не отстраняясь и не разрушаясь.

Очень меня тогда маминны охи злили – мне уже за 30, не надоело лучше меня знать, что мне вредно, а что полезно? И что за манера постоянно меня опускать под видом заботы? И зачем мне эта суггестия про мою беспомощность и «особость»? Помню, как сейчас: сидела и злилась. Вот только теперь мне становится понемногу понятно, что получилось-то все у меня благодаря маме, на самом деле. Она всегда мою чувствительность понимала, принимала и как могла берегла. Только поэтому из чувствительности получилась сила, из ранимости – прочность, из «нервного ребенка» – запас душевного здоровья. Только поэтому.

Про детское горе

17 января 2012 г.

Хочу записать недавнюю историю из практики, может быть полезно приемным родителям, и не только.

В воскресенье вечером звонок. Женщина:

«Извините, что в выходной, но просто не знаю, что делать. Она не хочет идти завтра в школу и вообще ничего не хочет и, кажется, опять плакала. Я очень боюсь».

Рассказывает: она опекун своей племянницы, 11 лет. Полтора года назад мама девочки очень быстро умерла от рецидива вроде бы вылеченного раньше рака, буквально за пару месяцев. Папы не было, взяла ребенка тетя. Причем тетя не родная, а двоюродная, так что прежде они близко не общались, так, виделись на семейных торжествах. Сначала было тяжело, потом привыкли, все вошло в колею. Девочка учится, занимается гимнастикой. Сначала сильно тосковала по маме, потом вроде развеселилась – подружки, тренировки, летом на море ездили.

«В пятницу прихожу вечером: она какая-то не такая. Говорит, телефон потеряла в школе. И вдруг так стала плакать, всю трясет... Я ее не ругала, ничего, ну, бывает, да и телефон-то уже старенький, скоро Новый год, говорю, купим тебе новый. А она только сильнее рыдает. Кое-как уснула, и вот все выходные ходит сама не своя, пропустила тренировку, сейчас спрашиваю: “Ты портфель собрала?”, а она: “Я не пойду никуда, не хочу“. Уходит к себе в комнату, дверь закрыла, и все. Не ела ничего. Это что, подростковое началось? Это из-за телефона? У меня детей своих не было, я даже не знаю, чего ждать-то? Может, мальчик какой должен был позвонить? Или боится, что мне в тягость, что в траты ввела? Я уж не знаю, что думать. И как быть со школой-то?».

Почему-то я сразу поняла. Старенький телефон, полтора года назад. То есть я знаю, почему, у меня тоже мама вот так же три года назад... Говорю: «У нее там смски были мамины, в телефоне. Спросите осторожно. И не трогайте, пусть погорюет. Укройте, обнимите, чаю сделайте и не дергайте, никуда школа не денется. Если через два-три дня лучше не станет, звоните, будем думать».

Тетя ошарашенно поблагодарила и отключилась.

Через два дня звонит:

«Как вы узнали? Я как сказала про смски, ее прорвало. Оказывается, она каждый вечер их перед сном читала. Наизусть помнит: “Ленчик, парадная форма к 1 сентября в шкафу, в глубине.

Проверь, не помялась ли юбка, может, подгладить“. Это сестра из больницы уже писала. Ну, и просто: *“Целую, зайчик мой, спокойной ночи“.* Мы проплакали весь вечер в обнимку. Я ей говорю: раз ты помнишь все, то они и не делись никуда, можешь всегда снова как будто перечитывать. Потом она спала полдня, потом поела наконец. Бледная, тихая, но получше. А сегодня, представляете, пошла в школу, а телефон нашелся! Охранник ей отдал! Но мы уж решили – купим новый, а этот пусть дома лежит, чтоб надежнее. На память».

Я предупредила, что девочку может еще временами накрывать, ничего страшного, просто быть рядом, на всякий случай дала телефон детского психолога, если что, и мы попрощались.

И хорошо, что такая тетя чудесная. Не начала ругать или «развеселивать», не потащила сразу в магазин за другим телефоном, не требовала «прекратить», ничего такого. Почувствовала, что дело серьезно, и была к ребенку очень бережна. Думаю, если бы я и не сказала, девочка сама бы ей про смски призналась, не в этот день, так на следующий.

Важно знать, что взрослые часто детское горе не распознают, потому что оно бывает отсроченным, и вообще кажется, что «он уже успокоился и все забыл», особенно если ребенок еще младше. Дети часто переживают горе «по частям», осиливая за раз столько, сколько могут. И мы можем годами не знать, что он каждый вечер смски перечитывает. Или еще что. И если ребенок пережил потерю, в случае любой явно странной, неадекватно острой реакции надо как минимум создать условия для контакта и доверия, тогда он сможет пережить еще кусочек своего горя и двинуться дальше, к восстановлению. Если в этот момент начать воспитывать или обесценивать его чувства: «Подумаешь, было бы из-за чего так расстраиваться», *доверие* — и привязанность будут нарушены, а горе «застрянет». Это касается не только случаев смерти близкого, но и вынужденной разлуки: развод родителей, отобрание ребенка и т. п.

Уровни благотворительности

21 января 2012 г.

Перед самым Новым годом было у нас здесь бурное обсуждение, стоит ли «дедморозить» в детских домах, и я тогда обещала написать про уровни благотворительности. Попробую здесь сформулировать что-нибудь. Может, не за один раз.

Итак, в каких случаях возникает нужда в благотворительности? Если в общем и целом, то это когда есть кто-то, кому плохо (сейчас или в перспективе), при этом сам он по тем или иным причинам себе помочь не может, и устойчивые механизмы помощи (семья, социальная сеть, община, государство) тоже почему-либо не справляются. Может быть, случай сложный и редкий, может быть, сами механизмы находятся в кризисе (например, при смене места жительства теряется социальная сеть и частично семья) или не имеют достаточно ресурса (например, государство бедное, или нет технологий помощи в таких случаях, или нет осознания, что эти люди нуждаются в помощи; технологии и осознание – тоже ресурс). Тогда люди или организации, у которых ресурс есть, оказывают помощь. То есть мы видим три составные части процесса: получатель (тот, кому нужна помощь), благодатель (тот, кто делится ресурсом) и собственно ресурс. Теперь чуть подробнее.

Получатель. Помощь ему может быть разовая и «прямо сейчас». Перевести старушку через улицу. Сдать кровь. Дать денег на лекарство. Накормить голодного. Есть ситуации, где такой вид помощи ближнему самый разумный. Она простая, и в куче случаев именно и только она и нужна. Помог – и забыл, пошел дальше.

Но бывает, что дело серьезное, и проблема получателя разовой помощью не решается. Болезнь серьезная и долгая. Старушек приходится переводить в этом месте постоянно, потому что светофора нет, а на другой стороне – поликлиника. Голодный на завтра снова голодный. И все в таком духе. Понятно, что помощь будет тем качественнее, чем полнее она решит проблему получателя в целом. То есть лучше не разово дать на лекарство, а оплатить весь курс. А еще лучше – собрать на операцию, которая сделает ненужным постоянный прием лекарств. А еще лучше – добиться, чтобы такие операции делали всем, кому надо, без всякой благотворительности, ведь никто не собирает деньги, чтобы вырезать аппендицит. Если речь о старушках – чтобы

появился светофор. Если о голодном – чтобы он мог сам себя прокормить. Про это есть притча про рыбу и удочку, которую все слышали наверняка. То есть, в пределе, лучшим результатом благотворительности с точки зрения потребителя будет то, что он перестанет в благотворительности нуждаться. Либо проблема решится полностью, либо он начнет справляться сам или с помощью традиционных механизмов (окружение, государство).

Теперь благодатель. Есть подход, при котором благодатель вообще должен присутствовать в процессе минимально. Дал денег, не приходя в сознание (чтобы левая рука не знала, что делает правая), и ушел. То есть он – лишь средство для того, чтобы стало лучше получателю. А если есть малейшие подозрения, что он тоже чего-то хочет, то значит, ему нужен пиар, самоутверждение, замолить грехи, успокоить совесть и т. п. и т. д., и вся его деятельность – от лукавого, даже если он уже тысячи детей от смерти спас.

Сразу скажу – мне этот подход совершенно не близок. Мне вообще не нравится, когда к кому-либо относятся как к средству. Благодатель – такой же важный субъект процесса. Нормально, что он не желает быть использованным. Нормально, что он хочет убедиться в эффективности вложений. Нормально, что он получает репутацию, авторитет и уважение, в том числе самоуважение. Нормально, если для кого-то помощь со временем становится работой.

Когда мне пишут в комментариях: «да, я хочу помогать детям с толком, но фондам я денег давать не буду, потому что они могут 20 % тратить на себя, для них это просто способ зарабатывать», – я тяжело вздыхаю. Потому что это тупик, из которого нет выхода. Фонды и вообще НКО – это не абстрактные сущности. Это люди. Которые делают большую работу и которым тоже нужно есть и кормить детей. Для этой работы им нужны помещения, командировки и компьютеры. Кроме того, в сегодняшней России они вынуждены тратить немало денег просто на то, чтобы, по сути, откупиться от государства, чтобы удовлетворить множество инстанций и проверяющих, чтобы заплатить налоги и т. п., а любое телодвижение вне узкого коридора наказуемо. Да, это дикость, когда вы собираете деньги на няню для детдомовского ребенка, которую ему ищут те же «Отказники», а потом государство берет налог с тех денег, которые заплачены няне, то есть наживается на том, что кто-то за него сделал его работу. Дикость, я ж не спорю. Но раз уж мы не удосужились до сих пор сделать революцию и занять нормальное государство, то надо как-то жить с этим. Ребенку после операции без няни очень плохо. И последствия его одинокого лежания в палате могут потом

сказываться всю жизнь и на здоровье, и на психике. Вы не хотите «кормить фонды»? Ок, идите сами в няни, бесплатно. Если вас пустят в больницу «с улицы», что вряд ли. Нет? Ну, тогда остаются только подарки в детский дом. Потому что фонды ж вы кормить не хотите. Еще чего, 20 % им.

Да, фонды бывают разные. Не обязательно, кстати, прям жулики. Бывают просто неэффективные, обюрокраченные, законы Паркинсона никто не отменял и для благотворительности. Бывают еще некомпетентные, пассионарии, которые так жаждут причинить добро и нанести пользу, что всем, кто не успеет убежать, мало не покажется. Все это есть. Хотите отдать деньги с толком? Вникайте, ищите рейтинги, смотрите отчеты фондов, спрашивайте людей, которым доверяете. Информации много. Но надо приложить усилия, чтобы ее получить и проанализировать. И потом еще приложить усилия, чтобы пройти между Сциллой и Харибдой. С одной стороны – «бездумная» благотворительность, дающая все возможности для махинаций, от совсем отвратительных (нищенки с младенцами, опоенными наркотиками) до законной и внешне вполне глянцевой (купите сироте подарок подороже и повысьте нам продажи). Яркий пример неквалифицированного пользователя – Скрудж из последней мультверсии «Рождественской истории», который вдруг стал щедрым. На мой взгляд, его обдурили только так, я бы лично этим двум типам ничего не дала «на приюты». С другой – паранойальное «никому не верю, все они жулики». Акт осознанного доверия тоже требует усилий, да.

И, по моему убеждению, чем больше «тонкий» вклад благодателя – то есть чем больше он вникает, устанавливает непосредственные отношения с получателем, использует в процессе не только свои деньги, но и свои таланты, знания, умения, тем лучше в конечном итоге. Дело прочно, когда под ним струится – нет, не кровь, а живая энергия, вклад души. Чем больше человек вникает, тем выше вероятность, что он пойдет дальше, от разовой помощи к постоянной, а от нее – к системному решению проблем, в том числе на уровне государства.

Еще одно: чем больше тех, кто вникает, тем лучше и совершеннее репутационная сеть, сеть доверия, а это огромная экономия усилий: если я знаю, как работает тот или иной человек или организация, я в очередной раз уже могу не вникать, а просто поверить. И если я знаю, что он добросовестен в оценках, я могу поверить и тем, кому верит он. Мир тесен, и вскоре выясняется, что вовсе не надо всегда читать отчеты. Даже почти никогда не надо, если хорошо ориентируешься в сети доверия.

Таким образом, для благодателя, ИМХО, лучшим возможным результатом участия в процессе будет статус, так сказать, квалифицированного пользователя, вникающего и способного на осознанное доверие. А если есть ресурс – то и на системное видение проблемы, и волонтерское либо профессиональное участие в ее решении. Понятно, что количество таких квалифицированных пользователей в социуме напрямую влияет на его качество и способность справляться с проблемами вообще, будь то пожар, коррупция или несовершенство законов, и в этой связи совсем неудивительно, что при путинском режиме жизнь НКО с каждым годом становится все сложнее и зарегламентированнее – вот уж кому точно не нужен квалифицированный и дееспособный социум, а любые проявления нашего осознанного доверия друг к другу – как нож острый.

22 января 2012 г.

Продолжим. Ресурс. Сначала кажется, что все дело в том, чтобы его было много. Больше денег – больше помощи. Как бы не так. Снижается детская смертность от болезней – благодаря прививкам и санитарии, введенным на средства благотворительных организаций, – через поколение растет смертность от голода. Массово помогаем голодным деньгами – растут цены. Все вдруг становятся добрыми и подают нищим – через полгода на улицах толпы нищих. Быстро и легко собирают деньги на операции за рубежом – завтра все хотят гланды вырезать только за рубежом, и кто-то опять останется без помощи, а отечественная медицина помрет. Дарим подарки сиротам – у них формируется потребительское отношение и нереальные ожидания, потом они никак не могут понять, почему вдруг перестали все дарить за просто так. Находим деньги на школы для детей в трущобах – и те, кто недавно и мечтать не мог об образовании, – нате вам! – сбегают с уроков. А еще через десять лет самосожжения устраивают, потому что потом хотят и работу в соответствии с образованием, а не абы какую.

Ресурс в благотворительности – штука коварная, недаром даже Билл Гейтс и прочие умники, пожертвовав свои капиталы на спасение мира, так и не придумали, похоже, что же с ними делать. По крайней мере, я не слышала их внятной программы, может, она есть, не знаю. Но умники отличаются тем, что все же думают, а не сразу вбухивают миллионы и потом за голову хватаются: «Е-мое, что ж я сделал-то?». Пусть уж лучше подумают хорошо.

Это большая и сложная тема, и многие умы и организации над ней думают, моя задача лишь обозначить. Понятно, что оптимально, когда ресурс используется с максимальным КПД. Ну, или с максимумом пользы при минимуме вреда. Но вот просчитать это бывает непросто. И очень неочевидно часто, что важнее, а что нет с точки зрения КПД.

Один пример. Звонит мне как-то приятельница спросить совета. У нее возник порыв чем-то помочь детям-сиротам, она позвонила в волонтерскую организацию и там ее почти сразу попросили сделать одно дело. В больнице лежит мальчик из провинциального детского дома, а у него завтра день рождения, и как назло все волонтеры этой больницы заняты, и не могла бы она купить подарочек и завтра ребенка сходить поздравить. И еще – сказали ей, – там с ним воспитательница, так ей тоже что-то, может, к чаю тортик какой. И вот возмущенный вопрос моей знакомой был про это: я понимаю – мальчик. Но с какого перепугу я должна какой-то тетке, которая, между прочим, на работе, тортики возить? Зачем?

Я объяснила, зачем. Что игрушку он полчаса поюжает и бросит. А эта тетенька с ним 24 часа в сутки. В больнице, оторвана от дома, без друзей, знакомых и вкусных передач. Она устала и часто раздражена. При этом она мальчика моет, одевает, укладывает, кормит и сажает на горшок. И если она услышит добрые слова от приехавшего гостя, и скушает подаренный тортик, она будет чувствовать себя лучше. И ее руки, когда она сонного ребеночка будет ночью на горшок сажать, будут мягче, а голос ласковей. И когда он будет бояться укола, она на него не прикрикнет, а пожалеет. Без гарантий, конечно. Но с большой долей вероятности. Поэтому на самом деле, если говорить об интересах ребенка, машинка совсем не так важна, как «тортик для тетки». И улыбка для тетки, и, может быть, полчаса женской болтовни с ней. Потому что от воспитательницы ребенок зависит в своих витальных нуждах, а от машинки все же нет. Хотя оно здорово, конечно, машинка.

Мы давно знакомы, поэтому мне хватило пять минут, чтобы меня услышали. Не всегда так легко получается. Скажем, довольно сложно бывает объяснить среднестатистическому спонсору, что провести, например, для воспитателей приюта курсы про то, как протекает детское горе (а в приюте все дети в состоянии острого горя, только потерявшие родителей или разлученные с ними), гораздо важнее, чем этих детей вывести в цирк. Они ж детям хотят помогать, а не «теток» учить и каким-то непонятным психологам платить неизвестно за что. Так что обычно дети в этом своем состоянии покорно едут в цирк – не

отвертись ведь, автобус оплачен и билеты куплены. Есть исключения, но именно что исключения.

Поразительно, что иногда спонсоры – довольно толковые менеджеры, которые в своем бизнесе очень даже способны здраво оценить эффективность вложений. Но как только речь идет о благотворительности – все. В цирк – и точка. Я не говорю сейчас о тех, кого и правда интересует только пиар (и здесь цирк, конечно, выигрышней – фото и вообще). Я о тех, кто честно хочет помочь. Но не включая головы. Или вот в комментариях к прошлому посту знакомая приемная мама пишет: могли бы прямо сейчас взять четверых детей, братья-сестры, шансов попасть в семью немного. Условия: поменять поролон на диванах и дооборудовать санузел. К сожалению, спонсоров этот случай вряд ли вдохновит, по опыту. Унитаз, поролон какой-то, чего это мы должны ваши проблемы решать? Вот свозить этих же детей на дорогущую экскурсию или айфоны им купить – это дело.

Да, наверное, мы плохо и недостаточно объясняем. Как-то не так берем за пуговицу и смотрим в глаза. У кого-то из коллег, тихонько, со скрипом, все же получается понемногу. По крайней мере, на курсы для детей уже найти деньги можно, не только на цирк. На помощь приемным родителям удастся иногда, вот «Отказники» наладили регулярные консультации и горячую линию. Гораздо труднее – на помощь кризисным семьям. Хотя им не нужны айфоны – им бы пару комплектов белья да новые кастрюли, и водопровод подлатать, чтобы опека детей не грозила забрать. А уж если эти семьи приезжие... Совсем ничего не найдешь. Хотя цена вопроса: откажется мама от ребенка или сможет растить сама. Огромная цена, год ее жизни в приюте окупится стократ. Зато как только она детей сдаст в детский дом, или у нее их заберут, то сразу же на ребеночка золотой дождь и прольется. Айфоны вместо мамы.

Государство ведет себя точно так же. В любом гранте государственном условия такие, что вы можете, например, напечатать тысячу календариков с текстом «Каждому ребенку – семью!», и будете молодцы. Но если вы захотите снять зал и там вести занятия Школы приемных родителей, чтобы это самое «каждому ребенку – семью» приблизить, выяснится, что вы не можете тратить грантовые деньги на аренду зала, и на оплату тренера не можете. А на календарики – пожалуйста. Потому что это легко поверить: вот календарики, вот счет из типографии. А ШПР ваша – да кто ее знает, была ли она вообще, да что, да как, а может, вы все врете. И каждый раз, чтобы сделать то, что действительно нужно, приходится придумывать, обходить, выкручиваться *(вот это сейчас уже изменилось отчасти, что*

радует – Л.П.)

Про соотношение ресурсов в профилактике сиротства и сиротских учреждениях я уже молчу. Раз примерно в сто, я так понимаю, разница. Если пособие для малоимущих несколько сот рублей, а содержание в учреждении от 40 до 70 тысяч в месяц. Это без всяких спонсоров. Количество мест в приютах для матерей, которым некуда пойти с ребенком, и мест для уже оставленных такими матерями детей в домах ребенка соотносятся еще круче. В большинстве городов и регионов это просто нельзя посчитать, потому что делить на ноль нельзя.

Многие проблемы вообще часто зависят не от денежных ресурсов, а от других. От квалификации специалистов, от их системы ценностей, от законодательной базы и системы принятия решений. От того, что система ответственности опеки такова, что им лучше и спокойнее, когда дети в учреждении. И от того, что власти у них немерено, а ответственности никакой. Из другой сферы: половина примерно сегодняшних бомжей, как я поняла из беседы с парнем, занимающимся помощью бездомным, прекрасно сами бы решили свои проблемы с крышей над головой, если бы не система прописки (регистрации), которая раз выпавшего из нее человека обратно не пускает никак. И такого очень много.

21 января 2012 г.

Получаются такие критерии эффективности:

с точки зрения получателя – рыба или удочка (чем ближе к удочке, тем круче),

с точки зрения благодателя – степень компетентности, «вклада души»,

с точки зрения ресурса – КПД и системные решения.

Собственно, теперь можно на любой конкретный вид деятельности с этих трех точек зрения глянуть.

Например:

1. Безадресный сбор денег «на что-то хорошее». Примеры: браслеты в Макдоналдсе, «отправь смс», опусти в ящик денежку, купи подарок или памперсы и положи в кучу, подай подаяние.

Обычно рыба.

Вклад души дающего минимальный, если он есть, то со стороны организаторов. Общественный контроль минимальный.

КПД: чаще затыкание дыр (памперсы, сборы в пользу жертв катастроф, терактов), иногда просто глупость (игрушки в детский дом), иногда что-то более существенное (игровые комнаты в больницах, няни для детей и т. п.).

На что-то сложное и системное так редко собирают просто потому, что при такой форме нет возможности что-то подробно объяснять.

Имеет смысл, на мой взгляд:

- для затыкания дыр – вполне оптимально, потому что просто и оперативно;

- если есть доверие к самой собирающей организации, знание примерных направлений ее деятельности и достаточная уверенность, что она потратит их с толком.

В остальных случаях смысла не вижу. Лично я никогда деньги в абстрактные ящики «на помощь сиротам» не кладу и нищим на улице и в метро не даю тоже. Иногда предлагаю телефон горячей линии – позвонить и узнать, кто может помочь с оплатой «операции ребенку», раз у них «все справки есть». Они шарахаются.

2. Адресная материальная помощь. Примеры: сбор денег на операцию конкретному ребенку, поддержку конкретной семьи или на оборудование учреждению.

Рыба, в следующий раз опять придется собирать.

Вклад души чуть больше, хоть есть лицо ребенка, сведения о нем, иногда передача денег сопровождается конкретной помощью: привезти, передать лекарства, сфотографировать, помочь родителям и т. д.

КПД (выношу за скобки результат лечения, тут понятие КПД неприменимо независимо от того, выздоровел он или нет). Создаются зачатки самоорганизации, использования социальных сетей, довольно высокий уровень общественного контроля, создается сеть доверия, репутации. Но есть и побочный эффект, особенно в случае с учреждением: поддерживается потребительство, государство поощряется в невыполнении своих обязательств.

На этом уровне помощи всегда сложно выбрать: ведь собирают много кто много на что, поди разберись, ресурс не бесконечен, – выбирая одного, оставляешь без помощи другого, в результате кто-то вообще от всего этого закрывается.

Я для себя проблему решаю через осознанное доверие. Есть несколько людей и организаций, которые я знаю, как работают, знаю их вьедливость, честность, внимательность к людям, знаю, что лишнего не попросят и про важное не забудут. Если они просят, я, не особо вникая, делаю перепост и по возможности участвую материально.

Возможны и любые другие стратегии выбора: кто-то помогает людям с заболеваниями, от которых страдали их родные, кто-то –

детям, кто-то – взрослым, кто-то – самым тяжелым, кто-то – тем, кому никто не помогает. Любое основание для выбора вполне достойно.

3. Создание механизма постоянной материальной и другой поддержки. Примеры: фонды (не бутафорские, для распила, а настоящие), которые уже не просто покупают и привозят памперсы, но регулярно решают проблемы учреждения, или категории получателей, выявляют и анализируют нужды и организуют «устойчивый поток». Обычно они со временем переходят от покупки лекарств и памперсов к приобретению оборудования, ремонту помещений, обучению специалистов, изданию литературы, созданию условий для обучения и работы людей с ограниченными возможностями и т. п. Они же иногда начинают систематическую работу по привлечению и обучению волонтеров (о чем дальше) и начинают ставить системные вопросы (о чем еще дальше).

Увы, но все-таки чаще рыба: учреждения берут, благодарят, но стоит потоку иссякнуть, все вернется на круги своя; для конкретных же получателей вполне бывает, что и удочка.

Вклад души организаторов – очень большой, обычно они становятся профессионалами. Вклад тех, кто поддерживает их деньгами, существенно меньше, одна из причин – организаторы работают так много и так задаром (то есть вынуждены подрабатывать где-то еще), что у них просто не остается сил и времени на пиар своей работы, отсюда идет про «не хочу кормить фонды» и «непонятно, что они там на наши деньги сделают». Как правило, контроль отдан на откуп государству, а оно, как мы знаем, любит календарики.

КПД при разумном подходе довольно высокий. Во всяком случае, точно в несколько раз выше, чем у аналогичных госструктур. Опять же создается инфраструктура, сайты, регулярные акции и т. д. К сожалению, на системном уровне проблемы чаще консервируются. Ну, носят и носят, и хорошо, можно продолжать те же памперсы в бюджеты не включать. Хотя сам факт постоянного присутствия и въедливого внимания к жизни учреждений безусловно в плюс.

Имеет смысл всячески поддерживать команды и фонды, которые вы знаете как честные и эффективные. Например, на моих буквально глазах из группы девочек-студенток в мощную команду превратилась «Старость в радость» – очень быстро. Я им доверяю совершенно, девчонки знают, что делают. Фонд «Здесь и сейчас» Тани Тульчинской – пример очень разумной стратегии поддержки учреждений. Ну, про «Отказников» я уже говорила сто

раз. Есть много совсем небольших, но очень разумно и много работающих региональных фондов. Информацию найти совсем не трудно, зато будете уверены, что ваш ресурс будет использован с толком.

4. Конкретная непосредственная помощь: перевести старушку, стать волонтером в больнице, стать шефом ребенка из детского дома, переписываться с бабушкой из дома престарелых, помогать знакомой малоимущей семье и т. п.

На первый взгляд – чистая рыба, однако сам по себе опыт общения с людьми «из большого мира» для многих категорий получателей как раз единственный способ получить хоть немного удачи.

Вклад большой, это и сила, и слабость, потому что люди очень выгорают и устают, особенно если учесть, что слова поддержки и одобрения они слышат редко, а вот что-нибудь вроде «тебе что, больше всех надо?» или «это вы собственные комплексы отрабатываете» – сплошь и рядом.

КПД: внешне не очень впечатляет. На самом деле при большом распространении имеет кумулятивный эффект, проблемы получателей становятся частью общественной жизни, их обсуждают, о них думают, они больше не «за забором», а опыт показывает, что если общество о чем-то всерьез думает, оно что-нибудь с этим да сделает. Есть очень много неочевидных составляющих КПД: если ребенок общается с постоянными волонтерами, которым он доверяет, ему всегда есть кому пожаловаться, а значит, многократно возрастает его защищенность от насилия. Кроме того, это мощная страховка на тот случай и период, когда государство не сможет и/или не захочет справляться со своими социальными обязательствами, а оно весьма вероятно в обозримом будущем. Из слабых мест – много организационных трудностей, связанных как с очень ограничивающим законодательством, так и с отсутствием в стране такой специальности, как социальный менеджмент, это на КПД отражается не в лучшую сторону.

Если есть ресурс – участвовать, если нет – просто поддерживать. Катастрофически не хватает инфраструктуры поддержки волонтеров, супервизий, групп по профилактике выгорания, конференций по обмену опытом, премий и других символов общественного признания. Между тем эти люди пропускают через себя мощные потоки чужого горя и боли, и им тоже надо как-то восстанавливаться. Скажите им спасибо. И чаю налейте.

5. Создание инфраструктур социальной деятельности, то есть условий, чтобы: сайтов, СМИ, центров, мест встреч, систем грантов и фандрайзинга, обучения волонтеров и т. п.

Удочка, но в этом и засада: поскольку акт «угощения рыбой» не проявлен, очень неохотно поддерживается спонсорами, и со стороны вообще непонятно, зачем («кормить фонды»).

Вклад души большой, участники профессионализируются и раздавать рыбу больше не хотят, нередко это происходит после острого кризиса разочарования в «простой» помощи.

КПД – разный, от очень большого до не очень. Часто невысокий КПД связан именно с недостатком профессионализма и понимания, что не все и не всегда хорошо делать на волонтерских началах. А приходится, потому что, опять же, деньги на это находить очень трудно. Ну, и государство затрудняет все и вся, как только может. Очень важная часть КПД – само по себе становление третьего сектора, которого в стране практически не существовало при СССР, потом начался бурный хаотичный рост в 90-е и самом начале нулевых, и период тяжелого выживания при путинском правлении. Но кто-то все же прочно встал на ноги и уже научился все преодолевать.

Невозможно ожидать, что на это будут собирать массово. Но там и затраты небольшие. Для мощных фондов не проблема, более-менее хватает тех самых 20 %. А вот малым НКО и начинающим бывает тяжело. Если бы те, кто способен оценить важность создания инфраструктуры, поддерживали прежде всего этот уровень, было бы здорово. Собственно, это прямая задача для спонсоров-корпораций: деньги невелики, а толку много. Но они как-то пока не готовы. Хотят рыбой кормить.

6. Создание и распространение новых технологий социальной деятельности, системно решающих проблемы получателей: экспериментальные площадки, аналитические группы по подготовке изменений в законодательстве, программы переобучения специалистов социальной сферы, исследовательские проекты, система грантов и фандрайзинга для новых видов деятельности.

Это даже не удочка, а мастерская по производству удочек.

Вклад большой, не только души, но и ума, и опыта. И его всегда мало, сколько ни вложи, потому что масштаб задач большой. А вот денежные вложения обычно нужно довольно скромные, но их невозможно почти раздобыть.

КПД потенциально самый высокий. Когда Боулби сумел донести до сознания членов английского правительства и английской общественности, что именно происходит с

маленькими детьми в условиях депривации, дома ребенка в Англии были заменены профессиональным семейным устройством в течение чуть ли не пары лет. В Украине ряд изменений в законодательстве и тотальная переподготовка специалистов на основе другой системы ценностей сделали то, с чем не справились бы сотни фондов и тысячи волонтеров: ополовинили сиротские учреждения. К сожалению, у нас это все очень тяжело идет и очень высокий риск, что все наработанное будет уничтожено.

Мне посчастливилось работать именно в таком проекте – в 19-м детском доме, который хоть и был формально госучреждением (за что и заплатился потом), работал именно как инновационный социальный проект. Мы могли учиться у западных коллег, могли пробовать и обобщать опыт, были созданы полные пошаговые технологии семейного устройства любого ребенка, обучены специалисты из некоторых регионов. Было много бардака, мало контроля, много поиска и много находок. И много родительско-детского счастья, хотя и трудностей тоже. Мы набрали максимальные обороты, технология работала, дети все практически уходили в семьи, казалось, вот-вот и будет прорыв, начнется реформа системы на основании нашего, и не только нашего опыта. Вместо этого получили усиление мелочного контроля над приемными родителями, дурацкий Семейный кодекс, разгром служб, симулякр в виде приемной семьи и никакой реформы, никаких служб, никакой переподготовки кадров, никаких технологий.

Невидимые миру слезы

28 августа 2012 г.

(Пост написан по поводу дела Таиси Осиповой, которую около двух лет держали до суда в СИЗО, не давая возможности видиться с маленькой дочкой – Л.П.)

«Свидания с детьми младше 12 лет матерям запрещены». Да почему?! Что, ребенок на ход следствия повлияет? Маляву передаст в трусах? Или дети заключенных – не дети, и по мамам не тоскуют? Не имеют права хоть раз в неделю на час к маме прижаться? За что с ними так?

А ведь ни за что – просто удобно, хороший способ давить на женщин. И неохота связываться, все ж надо организовать, да еще пойдут слезы-мольбы, зачем это. Обыскивать ребенка, опять же, непонятно как. Проще запретить – и все. Пусть забудет поскорей, ему же лучше.

И если дети в больницах, лишённые возможности быть с мамой, вызывают сочувствие у всех (кроме медработников, ага), то эти – нет. Они ж дети «преступниц». Они ж «своим матерям не нужны, а то бы они думали головой, что делают». Это не та, не настоящая привязанность, не как у «порядочных граждан». Это не дети, это не тоска, это не любовь.

В какой же жестокой дикости мы до сих пор живем! И не знаем, пока не коснется нас самих или тех, кого мы выделили из общей массы, «своих». Я вот не знала, что все так. Вернее, знала, что есть вроде такие правила, встречались же по работе дети заключенных, но как-то не впускала в сознание, что происходит на самом деле. Например, что это действует и для женщин в СИЗО, вообще пока не признанных виновными. А для детей они уже казнены. Это в норму возведенное жестокое обращение с детьми, гораздо более жестокое, чем физические наказания или «плохой уход».

Ребенка, чья мать попала в эти жернова, искусственно делают сиротой, обрекают на все муки тоски и потери. Даже если он не сирота по закону, в эмоциональном, душевном плане он мать теряет. Особенно если маленький.

Большая очередь

26 января 2013 г.

Имела сегодня любопытный диалог с чиновницей из московского департамента соцзащиты, мы на записи телепередачи «Право голоса» были. Обсуждали, нужно ли создавать Министерство сирот.

У нас, говорит, очередь из желающих усыновить.

Я говорю: нет у вас никакой очереди, не дезинформируйте народ.

– Есть, есть, вот люди ждут полтора года.

– Тогда почему у вас до сих пор не то что детские дома – дома ребенка не опустели?

– Так им те дети, которые есть, не подходят по тем или иным параметрам. Там же знаете, какие. Гастарбайтеры в основном оставляют.

– Это значит, что у вас нет очереди. У вас нет очереди на тех детей, которые у вас есть в учреждениях. Какое вам дело до очереди на кем-то придуманных себе виртуальных детей?

– Да как же нет, вот же у нас лежат списки, они и документы собрали, заключения получили. Ну, не готовы они национальных брать. Люди же имеют право брать такого ребенка, которого они хотят.

– В каком законе написано, что можно пойти и взять себе готовенького ребенка такого, как хочешь?

– (глубокая задумчивость)

– Почему вас вообще интересует, кто какого ребенка себе намечтал? Вам нужно устраивать тех, что есть. И у вас нет на них очереди. Ваша работа – ребенку семью искать, реально существующему ребенку, национальный он или какой.

– А, ну в этом смысле...

Да, именно в этом смысле. Они по-прежнему работают в парадигме «ребенок для семьи». И они сами уверены, что национального никто не возьмет. Как, скажите, можно устраивать детей, исходя заранее из того, что они никому даром не нужны? И какое Министерство тут может помочь, если такое в головах у всех, снизу доверху?

А в Смоленске было вообще нечто новое

31 марта 2013 г.

Это был семинар с последующей стратегической сессией для двух учреждений: детдома и интерната. Учреждений неплохих, с «традициями» и заинтересованными педагогами, с хорошим отношением к детям, но в целом довольно традиционных.

Сначала я два дня им рассказывала и показывала, почему для детей плохо то, что есть, и почему им с детьми трудно. Это, конечно, разные чувства вызывало, участников накрывало то виной, то жалостью, то протестом. Но было важно, что люди все это были готовы чувствовать, осознавать, и самим себе не врали.

То есть я считаю очень хорошей исходной точкой, когда сотрудник интерната говорит: «Я понимаю, что детям нужны семьи, и что нам нужна служба по семейному устройству, и по работе с кровной семьей, но если всех разберут, мы же останемся без работы». Это нормально, это честно и это на сто порядков лучше, чем лицемерное и слащавое: «да мы же любим их как родных, да им у нас лучше, да у нас же специалисты, и вообще, кто ж их возьмет – это ж такие дети».

От осознания исходного противоречия интересов детей и сотрудников уже можно отталкиваться. Потому что жизнь – игра с ненулевой суммой, и в ней вовсе не обязательно если одни выиграют, то другие должны проиграть. Если найти действительно правильное решение, выигрывают обычно все.

Собственно, именно это мы и попытались сделать на последующей стратегической сессии: вывести людей из состояния «ах, мы бедные-несчастные, детдом закроют и нас выгонят, но выступать против нельзя, мы ж не сволочи какие» и предложить подумать о своем учреждении в режиме стратегического планирования и целеполагания. То есть: как нам преобразовать наше учреждение из «детохранилища», которое детей травмирует и делает нежизнеспособными, в современный центр по профилактике и преодолению сиротства, в котором бы у детей: а) не рвались и по возможности восстанавливались связи с кровной семьей; б) во время пребывания в учреждении дети бы жили в максимально человеческих, приближенных к обычной жизни условиях; в) повышались бы их шансы на успешное устройство в принимающие семьи, если в свои вернуться нереально.

Два педколлектива работали параллельно, а мы между ними бегали и помогали (мы – это я и муж мой, которого я поставила под ружье, ибо он умеет эти все стратегические сессии гораздо

лучше меня, и вообще его сложнее смести бурной групповой динамикой).

Надо сказать, процесс получился впечатляющим. Особенно азарт участников. Мы не могли их выгнать ни на обед, ни на кофе-паузу.

Группа детдома – там и так много всего уже изменено, а директор как именно лидер команды – просто супер, – исписали три огромных флипчартовых листа мелким почерком – цели, риски, ресурсы, дорожная карта перемен. Группа интерната листы исписать не успела, но на защите проекта выпалила столько всего с такой скоростью и плотностью, что мы только рты пооткрывали. Кое-где их занесло, но на то и обратная связь группы – риски сразу обсудили.

Конечно, за один день они могли успеть только общие наброски сделать, впереди много обсуждений, попыток, разочарований и всякого разного. Это только начало, даже еще не первый шаг, а нулевой. Дай им Бог сил, здравого смысла и немного везения. И умного начальства. И толковых спонсоров (кстати, для них очень много делают их бывшие воспитанники, которые от них были усыновлены в США и сейчас уже выросли). И здоровья побольше. А единороссы пусть к ним не едут, не путаются под ногами.

Но я что хочу сказать.

Поразительно, как меняются люди, когда хоть на время стряхивают с себя виктимность. Те же самые люди, которые в первый день привычно жаловались на судьбу, начальство, зарплату, очернение в СМИ и то, что «нас не уважают». На третий день прозвучало: «Надо заставить с нами считаться». Как только в ответ на какую-то идею кто-то привычно заводил: «да мы не можем, да нам не дадут, да не положено», – тут же два или три человека отвечали вполне конкретными идеями, как сделать, чтобы смочь, чтобы дали, чтобы стало положено. Я не знаю, насколько это прочно, но оно есть.

И еще. Чем больше общаюсь с самыми разными коллегами (в широком смысле, людьми из сферы) в разных регионах, тем больше видно: на уровне глубинных, базовых ценностей мы совпадаем. Есть исключения, но с большинством, с тремя четвертями примерно – совпадаем.

Даже если они по конкретным вопросам думали всегда иначе. Или вообще о чем-то не задумывались, действовали по инерции. Правильный образ, небольшой сдвиг взгляда – и возникает вольтова дуга взаимопонимания. С внутренне чужими так не бывает.

Когда-то мне казалось, что миссия ИРСУ (Института развития

семейного устройства) – менять систему ценностей у специалистов. Ни фига. Ее не поменяешь извне никакими тренингами. Можно только дать синхронизирующий импульс. Можно только быть с ними открытым, честным и уязвимым, и тогда получишь в ответ их подлинные, а не привычно-защитные мысли и чувства.

Миссия – обращаться к тому, что в людях уже есть, но они дали себе заморочить голову, что это стыдно, невозможно, «не принято», дали себя убедить, что норма – это черствость, цинизм, барыжничество и лицемерие. И когда они просто слышат от кого-то: ребята, это мы с вами нормальные, а не они, вот, смотрите, я тоже так думаю и чувствую, как вы, я ПОЗВОЛЯЮ СЕБЕ так думать и чувствовать, они становятся – не другими, нет, а как раз теми самыми, какие они и есть на самом деле. Хотя бы на один день, а хочется надеяться, что и на дольше. И они себе такими – нравятся, хоть и страшновато порой.

Когда уезжали из Смоленска, к нам не пришло такси. Что-то втуляли сначала, что машина застряла, потом, что придет другая, потом, что другой нету, потом, что ту, что уже не застряла, задержали гибддшники. И так минут 40. А до поезда уже полчаса. А мы в пригородном санатории, где был семинар, и там такая дорога в колдобинах и во льду идет к трассе, и темень, и никого, а у девушки Саши, организатора, еще огромный чемодан на колесиках. Мы поплелись, скользя и чертыхаясь, – а что делать? Единственный шанс – поймать попутку. Утром меня в Питере группа ждет, если не успею на этот поезд, не успею перепрыгнуть в «Сапсан», а люди со всей Ленобласти приехали.

Тут нас обгоняет черный шикарный джип, муж голосует, но я говорю: «Да не, эти не остановятся, зачем им извозом-то баловаться». Джип и правда проезжает мимо. А потом вдруг тормозит и сдает задом. В нем молодая пара, заднее сидение завалено сумками. На лету вникнув в ситуацию, они очень быстро разгребают сидение, мы впахиваемся, и нас со свистом доставляют к поезду. На вопрос: «Сколько мы... вам должны», – ответили: «Не все в жизни сводится к деньгам», – то ли со смехом, то ли всерьез.

25 мая 2013 г.

Вчера в Петрозаводске на втором дне семинара для специалистов про подростков с травмами привязанности вдруг пошел разговор о том, каково подросткам в детдомах. В Карелии службы семейного устройства в основном при учреждениях, но не по инициативе учреждений. Это такой особый экстремальный жанр существования.

Говорили о том, почему так сложно с подростками воспитателям и почему так плохо самим подросткам. Ну, и пошли примеры и ситуации.

Как любыми способами не отдают в семью детей «удобных»: контактных, послушных, помогающих. При этом любыми же способами готовы сбавить детей неудобных, протестующих, убегающих, нарушающих правила. Хоть куда сбавить: хоть в коррекционку, хоть в спецшколу для правонарушителей – представитель детдома в суде сам выступает за то, чтобы воспитанника посадить в эту тюрьму для детей.

Как не дают встретиться с родными ребенку помладше: «а то будет к ним стремиться, пусть лучше скорее забудет и у нас привыкает», – но при этом готовы отдать пятнадцатилетнюю «неудобную» девочку под опеку стюродной бабке, у которой живет не просыхающий отчим.

Как отправляют в психушки за крики и грубость, за побег.

Как отдают охране приказ не пускать в детдом бывших воспитанников, которым иногда пойти некуда и обратиться не к кому, кроме своих прежних воспитателей, а им запрещено «приваживать» – кабы чего не натворили.

А было как раз 25 мая, и мы поздравляли всей группой одну участницу, маму выпускницы, которая убегала к дочке на последний звонок.

И так вдруг ярко я себе представила, что во всех этих самых детдомах и интернатах прямо сейчас, в эти минуты, стоят на сценах нарядные директора и завь по воспитательной работе. Те самые, которые в судах требуют посадить детей в тюрьму и которые запрещают детей на порог пускать. Те самые, которые отправляют детей под аминазин или подкладывают девочку пьяному отчиму, лишь бы с себя снять ответственность. Стоят и говорят проникновенным голосом текст, который я знаю дословно.

Про «этот дом всегда будет вашим родным домом».

Про «вы все – наши родные дети, в вас вложена частица нашей души».

Про «здесь дали вам старт, дали крылья».

И у них слезы на глазах. И руки растроганно сжимают букет от благодарных воспитанников. И в эти минуты они верят абсолютно в каждое свое слово.

А если они не справятся?

19 января 2014 г.

Эти слова часто приходится слышать.

Иногда они звучат пафосно-манипулятивно, чтобы оправдать нежелание отдавать детей в семьи (их очень любят некоторые директора ДД, хотя сами, отправляя трудного ребенка из учреждения куда подальше, вовсе не считают, что «не справились»).

Иногда с искренним ужасом – а вдруг не справятся, вернут, ребенку-то каково?

Иногда от самих будущих и действующих приемных родителей: а если все будет (было) зря, если не сможем помочь, если все равно ребенок пойдет по наклонной дорожке?

Я их много видела, несправившихся, работа такая.

Иногда удается в последний момент подхватить и помочь. Иногда нет.

Иногда сам ребенок уходит из семьи, иногда отдают, иногда забирает опека.

Иногда люди честно говорят: мы не смогли. Иногда на ребенка велят: не такой, не сякой, больной, ненормальный.

Это всегда все очень невесело и непросто. И порой кажется, что все напрасно, и лучше вообще никого никуда не устраивать, и хочется все бросить к чертям. Это мне, со стороны. А «несправившимся» еще тяжелее. Не говорю уже о ребенке.

В такие моменты я всегда вспоминаю одну историю. Историю мальчика, с которым не справились. Который пошел по наклонной. Который, как в любимых желтой прессой ужастиках «про пригретых на груди генетически порочных детей», ограбил с друзьями семью, вложившую в него столько сил. Который убегал, врал, воровал, и не желал никаких отношений с приемными родителями и с родными сестрами. Который сел, а потом снова сел, и его приемная мама много лет жила с этой болью в душе – не смогла помочь, подвела, не спасла, не справилась.

Так получилось, что с этим бывшим мальчиком, тогда уже зрелым человеком, я познакомилась до того, как узнала его историю.

Кого я увидела? Молодого сильного мужчину. Веселого, доброго, уверенного, готового помочь.

С нежной иронией он общался с женой, с сестрами, с приемной мамой.

Было видно, как в доме рады его приходу, и видно, как он рад

приходить сюда.

Было видно, что это очень хороший человек, внутренне, до глубины души хороший, все для себя в жизни решивший – правильно.

И видно, что он любит, любим, и счастлив. Они с женой обсуждали усыновление ребенка.

Но не успели.

Год назад Саши не стало. Скоротечный рак мозга.

Я вспоминаю его в тот день, когда он показывал нам свое любимое место: родник в глубине леса, с хрустальной ледяной водой. Каким юным вдруг стало его обветренное лицо, как у мальчишки, который показывает новым друзьям свое сокровище и ревниво смотрит: понравилось ли? словно проживал свое непрожитое детство в эти минуты.

Саша не знал, наверное, но я часто на семинарах рассказываю его историю, и привожу его слова, сказанные приемной маме: «Я бы и сам тогда с собой не справился... Если бы я в семье не пожил, точно бы не выбрался... Меня спасло, что я всегда помнил, что есть еще другая, нормальная жизнь».

И приемные родители, иногда уже совсем приунывшие и отчаявшиеся, светлеют лицом, всхлипывают и говорят: а и правда, может, еще все наладится. Мо-жет, он позже поймет. Может, не пропадет все, что между нами есть.

Не пропадет. Любовь и забота никогда не пропадают. Даже если какому-то ребенку их не хватит, чтобы преодолеть боль внутри. Даже если внешне все не станет благополучно. Но это выбор, это шанс, это возможность узнать, что «есть еще другая нормальная жизнь».

Поэтому я готова работать и в тех случаях, когда вовсе нет гарантий, что «справятся». В жизни вообще нет гарантий. Мы можем только любить, страдать, помогать и верить, что все не зря.

Эта история, рассказ о Сашиной жизни – его подарок нам всем.

Он и не представлял, как многим людям помог и еще поможет – просто историей своей жизни.

Спасибо ему за эту историю и вечная память.

Про тайну

7 мая 2014 г.

Просто посыпались тяжелые ситуации с подростками с тайной усыновления.

И, конечно, там всегда не только в тайне дело. Но со всем остальным можно работать. А с проблемами, вызванными тайной, – ничего не сделаешь. Открывать ее в этом возрасте, да еще на фоне конфликтов и кризиса в отношениях – рискованный ход с непредсказуемыми последствиями.

Как же всем начинающим приемным родителям хочется сказать: «пожалуйста, я вас очень прошу: не обрекайте себя и своего ребенка на этот кошмар, когда его корежит изнутри от того, что вы даже не можете назвать ему словами, не можете его про это пожалеть, не можете отправить его про это поработать с психологом, потому что этого как будто нет. Тайна».

И когда ваш любимый ребенок в отчаянии повторяет – по глупому поводу, из-за задачки или ссоры с компанией приятелей: «У меня нет шансов, со мной все всегда будет плохо, мне нет места в жизни», – вы вынуждены говорить в ответ ничего не дающие благоглупости. Когда он злится на вас, сам не зная почему, а вы объяснить не можете. Когда он делает словно назло все, чтобы показать: он не ваш, он чужой, чтобы наконец вы произнесли это вслух, а вам так хочется, если честно...

Очень часто говорят о том, что тайна – это ложь ребенку, которую он не простит, что это бомба, которая может взорваться в самый неподходящий момент.

Все это так.

Но для меня самое ужасное в тайне то, что это чулан, в который ребенка запирают с его болью – одного. Отдают ей на растерзание. А сами родители стоят за дверью и повторяют про «мы тебя любим» и «надо просто постараться».

Это, конечно, касается не только усыновленных детей.

Любая пережитая ребенком боль, травма, потеря не должна быть запрещена к обсуждению, явно или неявно. Все эти «не надо его расстраивать, пусть скорее забудет, мы его бережем от этих разговоров» есть просто оставление без помощи, по малодушию ли, по незнанию, по традиции, по собственной неспособности выдерживать чувства.

Пожалуйста, не делайте так.

Он не забудет, ваша любовь и забота сами по себе не отменят того, что уже было. Травма может накрывать через годы, особенно

если имела место в самые ранние, досознательные, дословесные месяцы жизни. Спусковым крючком могут стать разлука, ссора с близкими, чье-то отвержение, какая-то неудача. И накрывшие депрессия, отчаяние, ярость или бессилие будут совсем вроде бы неадекватны поводу.

Вы же не стали бы скрывать от ребенка, что у него диабет или астма, рискуя его жизнью? С ними можно жить и быть счастливым, нужно просто уметь позаботиться о себе в некоторых ситуациях.

Пожалейте детей.

Они имеют право плакать в ваших объятиях обо всем, что с ними случилось. Они имеют право знать имя той боли, которая внутри, потому что только это дает шанс с ней справиться.

Не знаю, как еще сказать, чтобы поверили. Многие до сих пор уверены, что «так ему будет лучше».

23 января 2017 г.

Меня много раз попросили описать, а как должно быть «по уму», если вдруг у приемного ребенка на теле следы, похожие на следы побоев, и он сам говорит, что его дома побили. Или не говорит, но следы уж больно похожи.

Если не «политическую позицию» занимать, где с одного края: «Все эти приемные родители берут детей из-за денег и потом с ними не справляются, не любят и издеваются, любить десятерых в принципе невозможно, в приюте им будет лучше», а с другого: «Все эти дети соврут – недорого возьмут, педагоги и чиновники их наверняка подучили, руки прочь от прекрасных людей, отдающих всю жизнь детям, фото с кружков и елки – очевидный аргумент».

Черная ирония состоит в том, что эти позиции зеркально повторяют отношение к детдомам: «Это Сиротпром, любая семья лучше, чем эти черствые люди, зарабатывающие на детях» против: «Руки прочь от святых людей, отдающих всю жизнь очень сложным и совсем больным детям, вот посмотрите, сколько у них кружков и как они на елке».

Политические позиции никуда, кроме треугольника Карпмана, никого не приводят, к социальной работе и защите прав детей отношения никакого не имеют, поэтому обсуждать их смысла нет (если мы не обсуждаем вообще устройство общественного мнения и законы его функционирования, но мы сейчас о другом).

И вот тут сложно. То есть, я процедуру-то вполне себе представляю как алгоритм. В каком порядке что делаем в зависимости от результатов, полученных на предыдущем этапе. Но условия для того, чтобы это работало...

Ладно, давайте по процедуре.

Сразу скажу, что я не юрист и не чиновник, я не знаю, чего от кого в каком случае требуют сегодняшние российские законы и подзаконные акты, а также внутриведомственные указания и предписания, которые обычно обильны и внутренне противоречивы. Но мы же договорились «по уму».

Итак, поступил сигнал.

Звонит в опеку воспитатель детского сада (учитель, врач, тренер, соседи, знакомые) и говорит, что у ребенка на теле, возможно, следы побоев. Дальнейшие действия? Срочно встречаемся с семьей, естественно. Просим приехать, или

предлагаем прийти домой. Не вламываемся. Предлагаем прийти к ним, если они не могут приехать (например, другой ребенок болеет, не с кем оставить). И сообщаем, что так и так. Дальше – варианты.

1. Например, при беседе с семьей папа или мама говорит – да, было дело, сорвались, дошли до ручки, был плохой день, сами теперь себе места не находим. Нужно думать, как помогать родителям, как налаживать контакт, как обсудить с ребенком то, что произошло, а может быть, как дать им с ребенком пару дней отдохнуть друг от друга, прийти в себя. Ребенок мог бы погостить в другой семье на выходных. Это совершенно рабочая ситуация, сто раз с таким имела дело, все это поправимо обычно, будут потом жить и радоваться.

Это самый частотный случай.

2. Или другой вариант: – родители говорят: ну и наказали, а что такого, он сам виноват, нас тоже били и людьми выросли, в Библии написано, и всякое такое. Тут может быть полезна беседа с юристом, чтобы разъяснил ответственность. Особенно если речь идет об опеке по договору. Там вообще-то в самом договоре должно быть прописано, что физические наказания запрещены. Обычно подобная беседа достаточно отрезвляет.

В совсем упертом случае есть ведь Административный кодекс. Пара штрафов или неделя подметания улиц – и папа-адепт «Домостроя» вполне будет готов принимать участие в занятиях группы с названием типа «Трудное поведение ребенка – преодолеваем без насилия». Если, несмотря ни на что, продолжать общаться с ними в духе уважения и сотрудничества, исходя из идеи, что ребенка он любит и хочет ему хорошего, вот только методы подкачали. Ведь он, и правда, может быть в остальном вполне хорошим папой, ребенок может быть к нему привязан и хорошо в этой семье развиваться. Чтобы это все знать, надо знать семью, ребенка, их отношения, динамику. Конечно, это не в ходе проверок холодильника выясняется.

3. Или они скажут: знаете, он у нас, к сожалению, часто такое говорит, внимание к себе привлекает, а может быть, ему этого даже хочется, потому что в кровной семье его били, и вот такой у него «язык любви». Но обычно, если с семьей работают, специалисты это раньше от родителей узнают, чем воспитатель из сада позвонит. Или сами услышат от ребенка.

Если с ребенком общается психолог или соцработник, такое заметно. Тогда нужно с ребенком работать про травмы привязанности, а родителям нужно много поддержки, и психологической, и юридической.

Бывает заметно реже, чем первый вариант, но не так уж

редко. Чтобы, скажем, из десяти детей половина были демонстративны или виктимны, это не очень вероятно. Хотя если они из одной кровной семьи с опытом жестокого обращения, то возможно, конечно.

4. Наконец, семья может сказать: сами не понимаем, в чем дело, мы не били, может быть, сад хочет от нас избавиться, и ребенка спровоцировали такое сказать? В этом месте мы говорим, что, конечно, очень надеемся, что это недоразумение, но разобраться обязаны, и вместе с семьей вырабатываем план. В который может входить работа психолога с ребенком и родителями, дополнительный мониторинг, общение с детским садом или еще что-то, по ситуации. То есть мы не ставим целью непременно любой ценой узнать, было или не было. Мы ставим целью, чтобы, если и было, то больше не повторилось. Все наши меры сводят риски того, что родители будут «распускать руки», к минимуму.

В процессе работы психологи могут обнаружить вариант номер три. Или придут к мнению, что так было, тогда это повод для нового разговора с родителями. Который может вывести на вариант номер один или вариант номер два.

Эти четыре варианта описывают, наверное, 90–95 % случаев. С вариациями и комбинациями, конечно.

Что такое остальные пять или десять?

Может выясниться, что ребенок избит очень сильно. Не «синяк на попе», а серьезные многочисленные кровоподтеки, сильный болевой синдром, ухудшение общего самочувствия, выраженная эмоциональная подавленность или страх. Тогда не обойдется без врачей и полиции. И принятия мер по изоляции ребенка от человека, которого подозревают в нанесении побоев. Изоляция может быть осуществлена не за счет помещения ребенка в приют, а другими способами. Например, можно его отправить к родственникам, в дружественную семью или, если бил папа, оставить с мамой, договорившись, что папа пока поживет отдельно, если мама готова к сотрудничеству и защите ребенка. Наконец, если мама сама боится папу, если он производит впечатление человека, не способного контролировать свою агрессию, если побои серьезные, уголовное дело возбуждается практически сразу.

Дальше будет разбирательство и суд, в ходе следствия наверняка будет проведена в том числе экспертиза отношений между ребенком и родителями. Дальнейшие решения принимаются с учетом ее результатов и мнения работавших с семьей специалистов. Важно, что в принятии решения нужно исходить не из «было или не было», это иногда невозможно

понять (вспомним хоть дело Агеевых), а «не повторится ли». И тут готовность семьи к открытости и сотрудничеству, к принятию на себя ответственности – важнейший фактор.

Еще вариант: с семьей все давно уже было неблагополучно, у специалистов и раньше не было уверенности, что о ребенке заботятся, сотрудничества семья избегает, всегда во всем винит ребенка, на себя не принимая ответственности. У ребенка позитивной динамики не наблюдается. Ситуация тянется не месяц и не два, непохоже, чтобы эта семья и отношения с приемными родителями были для ребенка ресурсом. И тут еще и физические наказания. И отказ от сотрудничества по исправлению ситуации. Или обещают, что больше не повторится, но повторяется. Возникают основания для расторжения договора, поскольку это устройство уже не в интересах ребенка.

Здесь тоже может понадобиться независимая экспертиза. И решение должно быть подробно обосновано, а отсутствие надежной заботы доказано не на уровне «у них дети болеют и дома грязь». А у кого, когда дети болеют, дома чистота и порядок?

Как-то так было бы «по уму».

Но для этого нужны профессиональные службы сопровождения, прописанные процедуры и еще много чего.

Например, если ребенка можно легко забрать из семьи, а потом задним числом придумывать мотивировку, сложно ожидать, что кто-то будет делать то, что долго и сложно, вместо того, что быстро и просто. Если бы был судебный порядок изъятия детей, думаю, работать с семьей было бы предпочтительнее, чем судиться с ней. Глядишь, и научились бы.

И еще есть один очень важный вопрос, вопрос метауровня.

Когда я веду семинары для специалистов по работе с наиболее кризисными ситуациями, я всегда спрашиваю участников: когда, в какой момент начинается работа с кризисной ситуацией в принимающей семье?

Ответ: с первого звонка в службу. Может быть, еще до принятия ребенка, до ШПР. С самых первых встреч. Которые или создают доверие, или его разрушают. А от доверия зависит, можно ли будет помочь в кризисной ситуации.

Под доверием имеется в виду доверие к институту, а не просто к человеку. В наших краях доверие часто держится на личном капитале. Этому доверяю, этому нет. И это очень ненадежная ситуация, как если бы вы оставляли вклад не банку, а лично какому-то клерку.

Сотрудник ушел в декрет, переехал, сама семья переехала – и все обнулилось.

Доверие должно быть подкреплено процедурами, гарантиями, законами, профессиональной этикой, механизмами репутации. Вот с этим у нас караул просто.

Травмы привязанности

19 апреля 2017 г.

Спасибо коллеге, что произнесла вслух: дети с травмами привязанности для отечественной психологии фактически не существуют. Опытный практикующий психолог не знает, что с этим делать и как это устроено. Екатерина пишет, что этому не учили в те годы, когда она получала образование. Увы, этому не учат практически нигде и сегодня.

А почему раньше не было описано – ну что вы, конечно, было. В литературе. Это называлось «дурная натура», «испорченный ребенок». И сейчас граждане в комментариях резвятся, не решаясь написать совет «изолировать от общества» и обходясь эвфемизмами. Мол, индивидуальный присмотр нужен.

Психологов и психотерапевтов всегда больше интересовали утонченные невротики из среднего класса. С ними так интересно. Они умны, безопасны и платежеспособны. У них такие остросюжетные сны и сложные чувства. С ними можно годами обсуждать, как мама «слишком любила», «душила заботой, но не принимала безусловно», как обрыдли все эти обязательные семейные ужины по воскресеньям и требования отца непременно поступить в университет Лиги плюща.

Кому какое было дело до детей из маргинальных слоев, которые рождались и росли в своих семьях, где их били и насиловали, или попадали в приюты, где их тоже били и насиловали. В этих семьях или приютах они умирали или вырастали искалеченными физически, психологически и социально. И, конечно, ни их родители, ни они сами в кабинетах психологов не появлялись.

И только в 1970—80-х с этими детьми близко столкнулись семьи среднего класса, в которые их стали устраивать, а следом и специалисты. Потом описали, назвали «расстройством привязанности». Описание верное, хотя понимания, как я думаю, за ним не было. Просто описан «симптомокомплекс». Который пытались лечить дрессировкой и «границами» или советами «просто полюбить». Все это редко помогает и доводит родителей до отчаяния, а то и до проблем с законом.

Я надеюсь (и мы над этим работаем, и для этого создавался ИРСУ), что постепенно это направление психологической помощи станет достаточно развитым, чтобы все, кому необходимо, могли найти специалиста. Сейчас до этого еще далеко.

Коротко можно сказать, что полезными здесь были бы не

материалы про расстройство привязанности, а материалы по работе с травмой и ПТСР (посттравматическим стрессовым расстройством). А еще лучше – контакты специалиста, который работает с ПТСР у детей. Потому что эти дети всегда – «посткомбатанты». Они выжили в условиях, в которых выжить было очень сложно.

Тестирование кандидатов

30 ноября 2017 г.

Опять появилась и уже нависла в виде законопроекта идея обязательного тестирования приемных родителей.

Впрочем, самого текста законопроекта там нет, нам предлагается за две недели обсудить смутную идею.

Что ж, давайте обсудим идею.

1. Всегда хочется иметь способ отделить агнцев от козлищ, и чтобы научно и наверняка. Тестирование кажется крайне заманчивой идеей. Мало смыслящим в психодиагностике людям всегда кажется, что у психологов есть такие волшебные тесты, которые узнают о тебе все, что нужно.

Это заблуждение. По-настоящему валидных, верифицированных на больших выборках тестовых методик существует не так много. И выявляют они обычно с большой достоверностью только очень явные, яркие проявления и отклонения, которые при длительном неформальном общении и так видны. Эти тесты довольно достоверно выявили бы депрессию, психопатию и шизофрению. Если бы люди с этими состояниями рвались в приемные родители. Но я такого не припомню.

Это не говоря о том, что кандидаты в приемные родители в обязательном порядке получают заключение психиатра. Если у него возникнут сомнения, он может использовать все имеющиеся психодиагностические методы, включая тесты.

2. Отдельный вопрос, какие из этих методик могут быть применены для тестирования приемных родителей. Что мы хотим узнать? Вот выявили мы личностный профиль – и что? Какие черты характера помогают, а какие мешают хорошо растить приемного ребенка? Или мы будем мерить дисфункцию семьи? Но где тут критерии? Что будет основанием для позитивного или негативного прогноза? Предъявите исследования, которые устанавливают значимую корреляцию между теми или иными характеристиками личности или семьи и способностью растить приемного ребенка. Если мы по результатам теста будем лишать взрослых права стать приемными родителями, у нас должны быть очень серьезные основания для этого, не так ли? Они есть? Где они опубликованы?

3. Как вы понимаете, этим вопросом задавались давно и многие. И проводились длительные с довольно широким охватом исследования на эту тему в Европе, в США, в Израиле. Простите, я

не беру в расчет кандидатскую диссертацию, защищенную в российском областном центре на примере 17 семей и трех авторских методик, сочиненных самим автором. Я про реальные серьезные исследования. Насколько я знаю (не могу сказать, что все знаю, но интересовалась), во всех этих исследованиях корреляция результатов предварительного тестирования кандидатов в приемные родители и катамнеза (как потом у них получилось с приемным ребенком) нулевая. В пределах статистической погрешности.

Если бы это было не так, все социальные службы развитых стран давно бы использовали стандартизированные тестовые методики. Но их не используют нигде. Могут быть глубинные интервью – там, где детей-сирот мало, и можно себе позволить возиться по два года с каждым кандидатом в усыновители. Обязательных на уровне закона стандартизированных тестов нет нигде. Случайно, что ли?

4. Ладно, оставим в покое личностные качества. Может быть, мы будем пытаться отсеять тех, кто берет детей лишь ради денег? Тех, кто будет с ними плохо обращаться? Или, упаси боже, педофилов? Боюсь, и из этого ничего не выйдет. Жулики и циники ответят на все вопросы в лучшем виде, хоть в рамку вешай как образец. Педофилы тоже, если уж они выбрали такую хитрую и рискованную форму реализации своей преступной склонности. Если честно, в нашей реальности педофилу намного проще сойтись с женщиной с детьми или совратить безнадзорного ребенка, и без всякого контроля творить что угодно, а не ввязываться в отношения с опекой, с контролем и т. д. Но если все же, то подготовиться к заранее известному тесту ради денег или преступных удовольствий не так уж и сложно.

5. Может быть, будем мерить стрессоустойчивость? Это, может, и было бы полезно, длительные стрессы у приемных родителей дело нередкое, иногда именно это становится причиной возврата или жестокого обращения. Но тот же вопрос: где будем ставить порог? Где серьезные исследования, показывающие, что ниже такого-то уровня – нельзя, а выше – можно? А если он у жены низкий, а у мужа высокий, или наоборот? Помню, в одном регионе мне замминистра с воодушевлением говорила, что они для тестирования приемных родителей используют тест для отбора в спецназ. Научный подход 90-гого левела. Пользуются тем, что у нас народ не любит в суды ходить и наказывать чиновников за противоправные и незаконные инициативы.

Хорошо, предположим на минуту, что каким-то чудом какие-

то приемлемые методики есть. Немедленно возникают новые вопросы.

Что будет означать их применение в человеко-часах? Какой процент психологов, работающих в социальных службах, способен тест проводить, а также проводить обработку и интерпретацию результатов? Или его будут проводить какие-то другие специалисты, которые есть только в крупных городах, и кандидатам в приемные родители придется к ним ездить?

Любой способ оценить пригодность человека к той или иной деятельности должен содержать в себе возможность изменений к лучшему. Выпускник плохо сдал ЕГЭ, его не берут в желаемый вуз – он может подготовиться и пересдать. Как можно будет пересдать психологический тест? Или его результаты будут приговором на всю жизнь?

Россия – многонациональная страна. Для многих кандидатов в приемные родители русский язык не является родным. Психологический тест – это же не заявление в пенсионный фонд по образцу, для него недостаточно знать язык «как государственный». Авторы законопроекта представляют себе длительность и стоимость валидации тестовой методики для каждого языка народов РФ? Или они предлагают ввести дискриминацию на основании родного языка кандидата?

Как отразится обязательное тестирование (довольно утомительная и унижительная процедура, надо сказать) на состоянии кандидата в процессе подготовки? Когда я обучаю тренеров Школы приемного родителя, мы говорим о том, что главный результат их работы – не знания в головах участников, а доверие и готовность обратиться за помощью, когда с ребенком станет трудно. Это и есть основная профилактика неблагополучной истории приемного родительства. Если тех, кто проводит подготовку, обяжут проводить тестирование, отношения с кандидатами изменятся необратимо. Психологи службы устройства превратятся для них из помогающих специалистов в контролеров. Это снизит в разы обращение за помощью и, соответственно, в разы повысит риски возврата ребенка или жестокого обращения с ним со стороны «дошедшего до ручки» родителя.

Наконец, кто и как считал экономику этого нововведения? Сколько это будет стоить? И не лучше ли эти средства использовать для развития служб сопровождения, для того, чтобы везде, а не только в городах-миллионниках, были неформальные, полезные ШПР? И не лучше ли сделать наконец грамотную процедуру оценки совместно с кандидатом рисков и ресурсов его приемного родительства?

И главное – кто и как считал, сколько детей могут в результате остаться в детских домах?

Речь идет о судьбах семей и судьбах детей. Все это выглядит совершенно непродуманной и безответственной затеей.

Да, проблем много, мы сейчас пожинаем плоды кампанейщины, которой сопровождалось сначала массовое создание приемных семей, без подготовки и сопровождения, а потом семейное устройство напоказ после закона Димы Яковлева. Мы пожинаем плоды непродуманной политики финансового стимулирования и непродуманной законодательной базы. Плоды того, что все эти годы так и не развивались системным образом ни нормальные технологии сопровождения принимающих семей, ни подготовка помогающих специалистов.

Вы хотите еще одно простое решение?

(Закон, к счастью, не был принят, но в реальности в большинстве регионов так или иначе ввели тестирование кандидатов – Л.П.)

Про «личностный рост» и безопасность

27 ноября 2011 г.

(Пост написан во время обсуждения тренингов личностного роста – Л.П.)

Я видела всякое: людей, которым это в целом оказалось полезно, помогло решиться на важные изменения в жизни, как-то встряхнуться, что-то про себя понять. Видела тех, кого исказило и кто поломал жизнь свою и близких. Или начинал тренировать всех встречающих-поперечных, кто не успел убежать. Случалось и экстренную помощь оказывать тем, кого через пару дней накрывало вплоть до элементов реактивного психоза. Сама не была, хотя, может, и было бы любопытно, но непонятно, почему так дорого.

Поразительно, что вообще сама идея таких тренингов, исторически выросшая из мега-бережного гуманистического направления психотерапии, слившись с методами бизнес-тренингов, превратилась в штуку довольно небезопасную. Пообщавшись с друзьями, которые вдоволь нарезвились на всех уровнях, я про себя это обозвала «психохирургией» (в отличие от психотерапии). Обилие выражений типа «его пробило, а ее еще не пробило» наводит на мысль, что суть происходящего на этих тренингах – взлом психологических защит. Взлом довольно жесткий, особо не увернешься. Например, часто бывает правило, что нельзя отказаться от выполнения упражнения – или уходи с тренинга. Или тренер, понаблюдав за участником, – хлоп – и выдает ему какую-то «истину» про него, которую оспорить нельзя, тут же услышишь, что ты это потому и не видишь в себе, что не хочешь. Конечно, слом защит вызывает катарсис и энергетический подъем с эйфорией, ведь защиты, как еще дедушка Фрейд убедительно показал, – жутко энергоемкая штука. Кто помнит, он приводил хороший образ с мужиком, мешающим вести лекцию криками, что лектор – идиот. Можно продолжить лекцию, изолировав мужика, но ценой энергопотерь – паре-тройке крепких дяденек из зрителей придется его вытолкать и удерживать дверь, чтобы он снова не вошел, а лектору – повысить голос, чтобы шум перекрывать. В итоге все устанут гораздо больше и не все из лекции услышат.

Но защита защите рознь. Да, бывает защита, так сказать, по инерции. То есть уже и мужик не такой буйный, да и, по большому счету, не лучше ли выслушать, с чем он там не согласен, и почему бы не обсудить, ничего ведь страшного. Но

если лектор не уверен в себе, а дверь держит охрана на хорошей зарплате, лучше и дальше вытеснять иное видение ситуации – от греха подальше. То есть у человека реально уже вполне есть силы, чтобы справиться с тем, что было непереносимо раньше, например, в детстве он был незащищен перед неодобрением окружающих, но сейчас-то точно не помрет от критики. Или когда-то конфликт с близкими пугал его до безумия, потому что родители страшно ругались, но сейчас он вполне мог бы конструктивно выяснить отношения, если б та старая детская паника не продолжала «держаться дверь». Тогда да, защита, вдруг рухнувшая от некоторого нажима извне (это может быть не обязательно упражнение на тренинге: сильное переживание, фильм, книга, слова друга или случайного собеседника, да что угодно, дзэн советует удар палкой). И, через инсайт и катарсис, умывшись слезами, мы распахиваем наконец злосчастную дверь, и – свобода нас принимает радостно у входа, а уставший мужик отдает нам меч, коим сам уже задолбался в дверь колотить. Человек уходит с нелюбимой работы, приводит в соответствие де-факто с де-юре в давно умершем браке, вспоминает свои забытые под давлением других ценности и таланты, и всячески еще личностно растет. Щастье, щастье, всем хорошим во мне я обязан лайф-спрингу и синтону.

Кроме этого, тренинги действительно дают конкретные техники и методы самомотивации и самоорганизации, которые могут хорошо работать, особенно если родители этим в детстве не озаботились и были скорее склонны все решать и делать за. То есть для в целом благополучного человека, проблемы которого сводятся к некоторой пассивности, неуверенности, внешнему локус-контролю, неумению посмотреть на себя по-новому и т. п., оно вполне может быть полезно.

Но бывает, что все иначе. Дверку-то держат неспроста и очень даже не зря. Ибо за ней – не просто мужик, похожий на Бармалея из детских страхов, которого пора бы уж не бояться, а реальный-таки Бармалей. Пьяный папа с ножом. Трезвая мама с повадками медсестры из «Пролетая над гнездом кукушки». Родитель-нарцисс. Родитель-психопат. Отвергающий и отменяющий родитель. Опыт серьезного насилия. Или еще что. И если дверь открыть, он же шутки шутить не будет.

Когда такая дверь открывается в психотерапии, человек не один – с ним терапевт. Их контакт, обычно к этому времени уже довольно прочный (дверь на первой сессии редко открывается), создает тыл, защиту, ту самую «психологическую утробу», которую человек недополучил или был лишен в детстве. Если это групповая терапия, то защиту дает группа, тоже не в первый раз

увиденная, а та, с которой прожито и прочувствовано уже много и есть доверие, и в которой не 50 человек, естественно. Имея такой тыл, можно и с ужасным встретиться. Обычно не за один раз, порциями, по мере готовности. В ситуации тренинга же контакта нет, отношений нет, все «на потоке». Взломали защиту, вскрыли, «пробили» – гуляй кишками наружу сам, как знаешь. Да, есть тренеры, которые за счет личной огромной способности давать много поддержки, за счет незаурядной эмпатии, сочувствия к людям и собственной внутренней силы даже в формате тренинга могут помочь. Но это, сами понимаете, не то, чего можно ожидать «как правило», это надо знать про конкретного человека.

И что же дальше? А дальше два варианта. Если взломали уж очень грубо и резко, человек разваливается. Вплоть до психопатических срывов и бреда с галлюцинациями. Не приходилось в своей взрослой уже спальне в ночи видеть вдруг Бармалея собственной персоной? И не надо. Тогда дай бог, чтобы сам человек или родственники вовремя обратились за помощью – промывать, зашивать.

А чаще, открыв под нажимом дверь, человек быстро убеждается, что этого мало – ресурса-то нет, и взять негде. Псевдо-ресурс в виде призывов про «поверь в себя», «просто поставь цель» и т. п. быстро рассасывается. И человеку приходится спешно сооружать другую защиту, но, поскольку сейчас он уже не ребенок, то это будет скорее всего не примитивное вытеснение, а что-нибудь повиртуозней. Например, идея, что мы – продвинутые, люди нового типа, а все вокруг – тупые бараны, и все из-за них, непродвинутых. Ему ж показали свои и других типичные ошибки в общении и выстраивании жизни, вызванные защитами, – и вот он уже видит их повсюду и у всех, особенно у ближних (у психологов это называют «синдромом третьего курса», все массово ссорятся с родителями и разводятся). Сначала он, конечно, добрый и всех просто зовет тоже пройти тренинг и припасть, так сказать, к истоку. Но почему-то «бараны» не очень хотят, тогда возникает конфликт.

Более того, «бараны»-то из ближнего окружения. Они не случайно там оказались, они были пригнаны к тому, бывшему человеку, который еще с защитами. Они его по-своему принимали и любили, хотя, может, и юзали, но и ему что-то давали. А тут он изменился: ведет себя странно, его прежние «кнопки» не работают, как с ним теперь быть? Понятно, что, как всякая система, его социальная сеть включает силу упругости и стремится сделать «все как было». И на него давят, обижаются, по больному месту невольно бьют в процессе бурных обсуждений и т. д. В запале рушатся вполне живые браки и дружбы, бросаются

не такие уж плохие работы, затеваются непродуманные бизнес-проекты, кто-то кого-то подводит, не отдает долг и т. п.

В результате человек лишается даже того ресурса в реальной жизни, который имел, все его «яйца» теперь в одной корзине – в сообществе «продвинутых». Новая защита крепчает, и уж ее он, наученный горьким опытом, так просто не сдаст. А силы кончаются, в период эйфории он сильно влезает в энергетический НЗ, поэтому часто все приходит к депрессии. Еще бывает, что депрессия как бы «делегируется» кому-то из близких, а сам человек продолжает бегать в ажитации. В общем, не очень весело.

Как отличить, есть у человека ресурс или нет, и пойдет ли ему на пользу слом защит? Тут надо понимать, что никак, собственно. Ни со стороны, ни заранее. Сейчас некоторые ответственные тренинговые кампании к психологу сначала посылают: пусть посмотрит и даст заключение, что человеку можно. Ко мне так уже приходили. Увы, миссия невыполнима. Никто заранее не скажет, ни психолог, ни тренер, ни сам человек, чего больше: риска или возможностей. В норме защита не падает, пока человек не готов, что ему ни говори. Но против лома, как известно, нет приема, а на этих тренингах много именно что «лома».

Вообще, я убеждена, что в этом деле риски могут снижаться только процедурой. Правилom «нет» прежде всего, без которого невозможна групповая терапия. Поэтому меня очень настораживает, когда вводится правило, что нельзя отказаться от выполнения упражнения. Если вводится полный запрет на отказ, более того, коллективная ответственность (если ты не будешь, выгонят тебя и того, кто с тобой в паре), я бы советовала разворачиваться и уходить немедленно. Само это правило задает деструктивную групповую динамику, находиться в которой не полезно никому. Так же, если есть жесткий запрет уходить из группы раньше, даже по семейным обстоятельствам, запрет общаться в дни тренинга с семьей и т. п.

Многие мои коллеги считают, что раз это может быть – и часто бывает – небезопасно, то должно быть запрещено в принципе и уничтожаться на корню. Я понимаю эту точку зрения. Ведь тут мы сплошь и рядом имеем дело с подменой контракта: обещают личностный рост, а вовлекают в психохирургию с измененными состояниями, взломом защит, авторитарными интерпретациями тренера: «Это у вас так и так устроено, а если вы не согласны, то подумайте, почему вы это отрицаете», – да еще прилюдными: «Все посмотрели на брюнета, который отрицает» и т. п. При этом ответственности за «вскрытых» и отпущенных никакой. Как и за разбалансированных тренингом пограничных, и

за ретравмированных им же посттравматиков, которым это вообще противопоказано абсолютно и без оговорок. С другой стороны, у нас все это поле настолько неструктурированно и критерии не сформулированы, что не хотелось бы прям сегодня госрегулирования особого в этом вопросе – нашему государству будет проще закатать в асфальт вообще все, что хоть чем-то напоминает. А я все же видела хороших тренеров, которые очень серьезно к безопасности относились, и неплохие результаты тоже видела.

Кроме того, понимаю, что людям проще пройти один, пусть дорогой, тренинг, чем ходить долго на терапию, так что это будет востребовано всегда, что ни говори, и будет появляться в той или иной оболочке. Оно ведь кажется-то как раз безопаснее: в большой группе, кратко, по программе, и вообще «просто саморазвитие», ага. И все ж голодные на истинные чувства, на глубокий контакт с другими, на свободу быть собой, а тут это вдруг промелькивает, даже если ненадолго, но первый раз в жизни, и конечно, впечатляет. Так что не думаю, что проблему решишь запретом сверху, и только ругаться бесполезно, надо как-то еще самих людей вооружать видением, что к чему и почему.

Говорят, что панацея – чтоб тренер был психологом с дипломом. Вот тут не уверена – видела я и психологов, упивающихся властью над людьми, а, с другой стороны, у нас не учат толком нигде в рамках госпрограмм групповой терапии и тренингам. Так, чтобы не только теорию, но и приличный практический багаж давало. Все, кто что-то умеют, учились на сертификационных курсах вне гособразования.

Это я к тому, что сами осторожны будьте. И внимание не столько к содержанию, слова-то все всегда говорят хорошие, сколько к форме, к правилам, договоренностям. Собака всегда зарыта именно там. Если правила вызывают у вас протест, кажутся неэкологичными и этически сомнительными, а их не желают с вами обсуждать и навязывают, – держитесь подальше. Если все же хотите попробовать – ни в коем случае не отрезайте себя от своих ресурсов, подумайте заранее, что будете делать, если «накроет», не принимайте в течение как минимум недели-двух после тренинга никаких судьбоносных решений, не выясняйте отношений с близкими, даже если подмывает, дайте всему улежаться и лишнему повыветриться.

Кстати, еще важный признак: скажет ли вам тренер про мораторий на оргвыводы. Если, наоборот, подталкивает «ковать железо, пока...», пусть продолжает без вас. Настораживающий признак – когда подталкивают к измененным состояниям, например, задают формат неизбежного переутомления (мало сна,

работа по 15 часов подряд) и искусственно «замыкают» пространство (запрет выходить в туалет-попить при сессиях, длящихся дольше полутора-двух часов).

И помните, что любые интерпретации ваших чувств, реакций, мотивов, услышанные от тренера, – это лишь его мнение, его фантазии и проекции. Берите из них все, что вам важно, что кажется точным и полезным, и просто пропускайте мимо ушей все, что не подходит. Даже если это у вас отрицание – ну и что? Имеете право. Защиты не держатся прочно, если в них нет нужды. Когда будет пора, тогда и услышите. А может, оно вам и вообще не надо.

В общем, берегите себя. Личностный рост – это круто, но лучше так, знаете, низенько-низенько. Тише едешь, больше вырастешь.

Про «все переругались»

16 декабря 2011 г.

(Написано вскоре после 10 декабря 2011 г., когда в Москве на Болотной площади прошел митинг против фальсификаций выборов в Государственную Думу – Л.П.)

Очень много в Сети стенаний и сарказма по поводу «вот уже все переругались». Кого-то это прям повергает в совсем отчаяние: «Ну, вот, я так и знал».

Я это все вижу со своей профколокольни несколько иначе.

Всякий групповой процесс, будь то семья, группа тренинга, коллектив фирмы или вот сообщество протестно настроенных граждан, проходит определенные стадии. Этому учат тренеров и группотерапевтов прям во первых строках.

Стадия первая – псевдосплоченности (в семье это называется «медовый месяц», в фирме – «старт-ап»). На ней все только-только почувствовали себя группой, с единой целью, наслаждаются чувством принадлежности, очень боятся кого-то обидеть и разочаровать, «держат лицо» и вообще зайки. Все милы, приветливы, уступчивы, готовы задвинуть свое «я» куда подальше, проглотить противоречия и закрыть глаза на недостатки других. Все кидают мусор в урны, дарят цветы друг другу и говорят «Спасибо!» всем и за все. Все испытывают подъем, эндорфины-дофамины, потому что существа мы стайные и в группе своих нам кайфно, так уж нас природа сотворила. Это не значит, что чувства – не подлинные, они самые настоящие, искренние. Просто они, так сказать, даются авансом, поскольку на этой стадии еще совсем не ясно, выйдет ли из этой общей деятельности толк и будет ли данная группа функциональна, или развалится ко всем чертям, раня осколками участников. Отчего, кстати, к эйфории и радостному изумлению – ну, надо же, мы вместе – примешивается отчетливая тревога, а отдельные особо чувствительные участники ее ловят как антенны и порой начинают истерить а-ля Кассандра, что дело добром не кончится и будет море крови. А кто-то просто сидит в уголке и молчит, от греха подальше, – такие тоже в каждой группе есть.

Судя по рассказам о 10 декабря, все признаки первой стадии имели место, и это хорошо. Потому что чем больше ресурса получит группа в этот момент, тем больше ее шансы справиться с остальными.

А дальше наступает стадия вторая – стадия конфликтов и конкуренции. Потому что сколько могут люди свое «я» зажимать?

Недолго. Почва для конфликтов обычно есть. В семье это грязная посуда и деньги, в фирме – распределение обязанностей и тоже деньги, в группе – конкуренция за внимание тренера и роль лидера, в политике – и так понятно. И тут начинается. Тестостерон зависает в воздухе так, что хоть топор вешай. Амбиции и позиции с грохотом сшибаются и разлетаются в стороны, чтобы опять рвануть на таран.

В ход идут все и всякие приемы, в зависимости от личных предпочтений участников: и прямые оскорбления (если автор – пацан и знает слово «гандон»), и обесценивание (если автор – интеллигент и знает слово «лемминги»), и холодный опускающий анализ (если автор – политолог и знает слова «альтернатива» и «оппозиция»), и высокий слог (если автор – поэт и знает слово «говно»), и тонкая ирония (если автор – журналист и знает слова «пуй» и «разосрались»), и детская обида (если автор нежен душой и знает слова «все дураки»). Все орут, машут руками и кидаются: в семье – посудой, в фирме – степлерами, в группе – интерпретациями, а в политике – мрачными предсказаниями про «у таких, как вы, и с такими, как вы, ничего никогда, потому что». Происходит выяснение, кто чей современник, кто с кем нерукопожатен, и где чья роль в искусстве. Бурное, в общем, времечко.

Ужас? Да как посмотреть. В процессе оно, конечно, неприятно. Однако есть эмпирический факт: без этой стадии каши не сварить. Группу, в смысле. Если по тем или иным причинам вторая стадия не развернулась, результативность сильно страдает. Все будет на вид тип-топ, но настоящей работой это не назовешь. Что в семье, что в фирме, что на тренинге.

С другой стороны, на этой стадии все вполне может и вовсе развалиться. Например, от группы останется половина, брак распадется, фирма развалится. Больше половины российских фирм, кстати, не переживает второй стадии.

Что же за задачи решаются на второй стадии, почему без нее плохо?

Главный вопрос: мы уже знаем, что можем быть вместе, и нам это нравится. Но сможем ли мы остаться вместе, если предъявим себя, какие мы есть? Глупые, нелепые, злые, ничего не понимающие, мало что умеющие, некрасивые во многих проявлениях, виноватые в том и в этом – в общем: настоящие. Сможем? Или нас оттолкнут, отвергнут, унизят? И не надо ли поскорее самим отвергнуть, чтобы остаться неуязвимым?

И еще вопрос: по-чьему будет? По-твоему или по-моему? И если у нас это по-разному, то, опять же, сможем ли мы быть

вместе, и как? Получится договориться на равных? Или ты захочешь командовать? И не лучше ли тогда поскорее мне самому начать командовать, чтобы не упустить инициативу?

И еще: а сможем ли мы остаться вместе, когда придется трудно? Когда хорошо и легко – мы можем, это уже мы знаем. А вот если будет плохо, страшно, обидно, если мы окажемся в лузерах, и одни против всего мира – сможем? Или ты меня бросишь, предашь, начнешь травить вместе со всеми? И не лучше ли мне тогда первому тебя кинуть, чтобы самому уцелеть?

Сами понимаете, без ответов на эти важнейшие вопросы толковой группы не будет. И найти их без конфликтов и ругани нереально. Тут важно, как ругаться, чтобы двигаться вперед, а не завязнуть в разборках. И важен, конечно, бэкграунд участников. Чем лучше у них с доверием и открытостью, с гибкостью и уверенностью в себе, тем им будет легче. Чем больше они травмированы в прошлом, чем больше их кидали, опускали, отвергали, тем больше вероятность, что они безопасность поставят выше сотрудничества и общей цели. В этом смысле у нас, сами понимаете, анамнез отягощенный по самое некуда. Но, с другой стороны, и на все грабли уже наступлено, в том числе и на «бис», так что шанс есть.

На тренинге проще – там группе помогает пройти через бурные пороги ведущий. Его этому учат, у него на это есть приемы-подходы. Чтоб конкурировали, но двигались. В процессах, где задействованы огромные, многотысячные группы, роль ведущего приходится брать на себя лидерам, авторитетам. Если они понимают или чувствуют суть происходящего, они хорошо справляются. Вот Акунин, например, хорошо справляется, недаром все твердит про открытость, про то, что все должны быть услышаны, про то, что можно думать (идеологически) разное, а делать общее. Годный тренер, чувствует процесс.

Если же тренер конфликты гасит, не проясняет, боится конфронтации, или сам берет одну из сторон и кидается в сечу, дело плохо. Или если демонстрирует всей группе или отдельным ее частям неуважение, пренебрежение, сам задает пример обесценивания и отвержения. Если с презрением клеймить кого-то «недоговороспособным», это, к сожалению, договороспособности никому не добавит. А плохих энергий в процесс подольет. Если уж судьба свела людей в группу по тому или иному признаку, в ней каждый важен и нужен, и каждый должен быть уважаем, как член этой группы здесь и сейчас, даже если вне группы эти люди ни за что друг с другом бы не дружили и принципиально не общались. И вообще, тут личные качества участников второстепенны. С хорошими правилами может и

группа не очень умных вполне себе чего-то достичь. А с плохой процедурой и милейшие умнейшие люди разругаются в дым.

Уважение, уважение, уважение – вот чего сейчас остро не хватает. И у тех, кто в свете прожекторов, и у публики. Надо по возможности эту субстанцию внутри себя производить и добавлять в варево.

Посмотрим, что из всего этого выйдет, но пугаться самого факта конфликтов и считать это признаком «все пропало», не надо. Полет нормальный, все идет по плану.

Если вторая стадия благополучно проходит, за ней наступает третья – стадия подлинной сплоченности и продуктивной деятельности. Группа раскочегаривается и работает, как заведенная, сворачивая горы и добиваясь успеха за успехом. Но эту стадию надо заслужить. Там еще четвертая есть, но оно сейчас точно не актуально.

Про это все написаны целые тома и диссертации, прошу извинить за упрощения, но я коротенько и самую суть.

19–28 декабря 2010 г.

Дочь у меня в четвертом классе. Понтовая прогимназия, «отобранные дети». Уже не первый год травили приятеля дочери, и ее заодно. Они уже притерпелись, что дразнят и гадости говорят. Пытались игнорировать. Все это нарастало довольно долго. И вот привело к драке, в которой мальчику сломали нос. Я предупреждала учительницу, она упорно делала вид, что это не ее дело. Я вместо нее пыталась что-то с детьми делать, командообразованием заниматься и еще по-всякому. Бесполезно, через голову-то. Она каждый раз давала понять, что это те, кого травят, должны измениться. Или научиться не раздражать. Слиться с пейзажем. А они не сливаются, при всем желании. Да это и не помогло бы, см. «Гадкий утенок» Бардина. Там все подробненько показано про то, какие стратегии НЕ работают в ситуации травли. Слиться, измениться, понравиться, подражать, веселить, помогать. Против группы, сплоченной негативом, это не фурычит. А то, что фурычит, должны делать взрослые, по крайней мере в начальной школе. Сами дети смогут не раньше 12–13.

Вообще про это все много можно чего написать, за раз не получится.

Пока только одно. Главное, что я сейчас, когда эта история длится уже давно, и даже мне казалось, в последний год уже подутихла, поняла. Самое большое зло в подобной ситуации – психологические бредни про «в конфликте две стороны», и «надо начать с себя», и «надо попробовать конструктивно». Да, я боялась незаметно для себя оказаться в ситуации «ах, мой ребенок такой необычный и тонкий, а все вокруг просто звери». Я это наблюдала не раз, и знаю, как родители при этом бывают слепы.

Дочь и правда чувствительная. Ее не обижали дома. Она офигевала от агрессивности детей, от того, что они не останавливаются, когда плачешь. Никак не могла этого понять – что смешного, когда человек плачет. «Недостаточно социализирована», как это назвала школьный психолог. Потому что «достаточно» – это когда уже в семь лет все чувства отрезаны и никому не веришь. А наша из-за каждого дождевого червя раздавленного расстраивается. И не просто расстраивается, а лезет в грязь их «спасать». Даже сейчас, после всего, если с любым из этих «деток в клетке» что-то плохое случается, говорит с большим сочувствием о них и готова помочь. Ну, такая она. Так вот избаловали. На мой взгляд, все это немного чересчур, но это

отдельная задача, которую ей еще решать: установить границы своей готовности понять и помочь.

Конечно, до ярости можно довести любого. И у нее внутри это есть, мы-то знаем. Но не в восемь же лет Евпатия Коловрата изображать. Да и страшно это, ярость.

Весь второй класс мы «начинали с себя». С учительницей беседовали. И с директором говорили. И детей пытались перенастроить. И своего ребенка к психологу водили. И вроде оно становилось лучше, и почти хорошо, и придраться конкретно не к чему. И она не жаловалась особо, не отказывалась ходить. Как-то философски стала настроена: «Я в нашем классе аутсайдер, но это только в классе. В других местах все хорошо». Направили усилия на обеспечение «других мест», достаточно качественных. Ребенок там счастлив.

Школу вроде глупо сейчас менять – там прогимназия, через полгода все кончится. Вроде было терпимо. И тут эта драка.

Сейчас, оглядываясь назад, могу сказать одно: идиоты.

Надо было делать то, чего требовал родительский инстинкт и чего хотелось больше всего, – устроить такое, чтобы мало не показалось никому. Тогда еще, сразу, как стало понятно, что происходит.

Из-за всех этих «конструктивов» и «начать с себя» испортили ребенку детство.

В общем, не делайте так никогда. Если ребенок мал, а однозначной поддержки со стороны учителя нет, и даже есть прямая или косвенная поддержка травли, надо не в себе и в ребенке копать, а вступать в конфронтацию. Называть вещи своими именами. Это – эмоциональное насилие. Это нужно прекращать.

* * *

Весь день читаю порциями комменты всех, кто побывал с той и с другой стороны. Волосы дыбом. Получилась какая-то энциклопедия детского горя. Особенно пробили воспоминания тех, кто участвовал в травле, чтобы самому не стать козлом отпущения. Кто боролся изо всех детских сил, чтобы удержаться на предпоследнем месте и не попасть на последнее. Возникла страшная ассоциация с децимацией. Это когда всех строят в шеренгу и каждого десятого того... в расход. И когда считают, у первых-то быстро отлегает. А вот девятому... он очень дорожит местом девятого, а не десятого. Школьные годы чудесные... А от ассоциаций с процессами, происходящими в обществе, вообще

мурашки по коже.

Спасибо всем за слова поддержки, но конкретные рекомендации, если честно, в большинстве своем шокировали. Не знаю, может, я сама спровоцировала такое выражением «чтоб мало не показалось», но я точно не драки имела в виду!

Многие отмечают, что их самих не защищали, поэтому сейчас они порвут за детей. Такая компенсация межпоколенческая. Оно и понятно, но все равно страшно. Тут вспоминали уже нападения на учителей. К этому идет, что ли? Да и ребенка чужого пойти треснуть... Чем это лучше исходной ситуации? Чтобы с синяком не только мой, но и тот? И где, кстати, гарантия, что он потом не треснет моего или вообще не прирежет? «Жалеть своего, не жалеть чужих». «Шантажировать школу пожарными и СЭСом». «Перенаправить травлю с этого ребенка на другого». Все это продолжение той же безумной реальности, принятие этих правил игры.

Самому ребенку дать команду «гасить»? И? Знаете, сколько случаев, когда в результате он же и оказывался виноват? Или покалечен? Кроме того, это ведь все то же: «изменись сам». Моей, например, для того, чтобы начать стульями кидаться, надо было бы измениться внутренне. И тогда смысл?

Ну, уйти – понятный совет. Не знаю, правы ли мы были, что не ушли сразу. Мы предлагали ребенку все время. Дочка не хотела бросать друга. А может, боялась, что в статусе новенькой снова огребет. Может, надо было настоять. Не знаю.

Я предлагаю все же исходить из того, что и ребенок, и семья имеют право сохранить в этой ситуации свою систему ценностей.

И, кстати, именно поэтому рассматриваю вариант ухода как крайний. Потому что непонятно, почему уходить должен тот, кто никого не трогал и ничего плохого не делал. Конечно, кроме случаев, когда ребенку явно неважно, и он просит уйти. Или просто опасно. Тут уже не до принципов.

* * *

Многие спрашивают: почему это возникает? Потому что такова потребность возраста. Детям надо быть в стае, надо осознавать себя через противопоставление другим, надо полностью ощущать принадлежность. Это как раз возраст предпубертатный, но сейчас все раньше становится, сдвигается в восьми, девяти годам. Им жизненно нужно чувство групповой сплоченности. Всем, кроме особо ярких индивидуалистов. Если есть какие-то позитивные основания, чтобы эту сплоченность

чувствовать, все хорошо, травля не нужна. Если дети чем-то заняты, общая цель у них, общие интересы. В современной школе этого нет совсем. Все атомизировано: пришли – отучились – разошлись.

А оно надо.

И рано или поздно случается открытие: можно сплотиться ПРОТИВ кого-то. Тогда наступает счастье. Многие в комментариях отмечали особое упоение, удасть, веселье, эйфорию, которые охватывают участников травли. Потому что они – вместе. И они – хорошие. Не так важно, что в это вкладывается – высокие или красивые, или умные, или модные, или, наоборот, бравые двоечники. Важно, что с ними все ОК, потому что еще уверенности в себе нет, собственной сформированной самооценки нет, а быть ОК очень хочется. И тут такая возможность. Чем больше ребенок неуверен в себе, чем больше зависит от оценки окружающих, тем более вероятно, что он будет активно участвовать в травле. То есть, на самом деле они так панически боятся, что кто-то догадается об их уязвимости, что из кожи вон лезут, заранее перенаправляя огонь на кого-то.

Само выражение «козел отпущения» пошло от древнего обычая раз в год навешивать на бедное животное все свои грехи и зафигачивать его в пустыню, на съедение демону. Подобные механизмы существовали и существуют во всех культурах. Старо как мир.

Часто объясняют травлю с позиций этологии, мол, есть альфа-особи, есть омега-особи и т. д. Все это, конечно, есть. Но люди все же посложней обезьян будут, и к этому все не сводится. Как минимум, эта теория не объясняет, почему есть группы без травли. Да, со своими звездами, середнячками и «особыми», но при этом без насилия. Поэтому меня этот подход не устраивает. Можно объявить, что это, мол, у них такое распределение, и просто он омега, и все. Всем расслабиться.

Между тем вопрос, на мой взгляд, именно в этом. Почему некоторые детские коллективы оказываются беззащитны перед групповой иерархией, вшитой от природы, а другие-то нет. Живут по-человечески. Мое убеждение, что до подросткового возраста это полностью зависит от взрослых. Если есть авторитетный взрослый, который насилия не приемлет, его не будет.

А мы что имеем? Учителя сплошь и рядом вообще считают атмосферу в классе не своим делом. Или хотели бы что-то сделать, да не могут. Этому, кстати, учат где-нибудь? В программе педвузов хоть говорят о таком феномене, как травля? Есть и такие, что сами провоцируют, им это кажется очень удобным способом управлять детским коллективом. Иногда

невольно провоцируют. Например, любимый учителями физкультуры способ скоротать урок – эстафета. Всем весело, учителю легко. Плохо неспортивным детям, которым достается за то, что «подвели команду». Если учитель никак это не отслеживает и не работает с этим, а наоборот, подогревает азарт, травля почти неизбежна.

Ну, а дальше вступает в силу действие системных законов. После того, как группа назначила «козла отпущения» и сложилась как дисфункциональная, то есть замешанная на насилии, она такой и останется без сильных причин измениться. Распробовав вкус насилия, детский коллектив остановиться сам не может. Если дети оказываются предоставлены сами себе – дело может далеко зайти. «Повелитель мух» или «Чучело» – там все подробно описано.

Плюс общий, фоновый высокий уровень разлитой агрессии. Когда перекрыты каналы для направления агрессии по адресу, к источнику унижения и попрания прав – в нашем случае наверх, к властям, – агрессия расплзается вширь, лезет во все дыры, проникает в щели. Она в воздухе разлита, а уж форма найдется.

* * *

У нас все получше, ТТГ. Видимо, дети впечатлились тем, насколько все оказалось серьезно. Зачинщики притихли, остальные прям приветливы. Как резюмировала дочка, проводя в школе два дня, «так жить можно». Я говорила с директором и учительницей, но они вряд ли что-то успели уже сделать. Думаю, сам настрой важен.

Так вот, чтобы завершить тему. Для начала – о том, что, как мне кажется, заводит в тупик взрослых, которые пытаются справиться с травлей в детской группе. О типичных ошибках, неверных убеждениях и стратегиях, которые часто приводят к тому, что ситуация травли консервируется или даже усугубляется.

1. Ждать, что само пройдет.

Само не проходит. У детей до подросткового возраста – точно, позже есть небольшой шанс. Если в группе найдутся достаточно авторитетные дети (не обязательно лидеры), которые вдруг увидят эту ситуацию иначе и решатся заявить о своем видении. Возможно, не полностью прекратить, но сильно уменьшить травлю это может. Я такое несколько раз наблюдала, и сама когда-то участвовала. В нашем классе сильно травили

мальчика из не очень благополучной семьи, очень жестоко, он считался «вонючим» (был энурез, как я теперь понимаю). Били, обзывали, отнимали портфель, в общем, по полной программе. Жалко его было всегда, но это воспринималось как данность, неизбежность – ведь «он такой». Учителя тоже в основном пытались давить на жалость, что дела не улучшалось. А потом, классе в шестом, вдруг накрыло осознание, что так нельзя. Что просто нельзя и все, независимо от того, какой он. Ощущение холода между лопаток от 30 взглядов, когда я иду через весь класс и сажусь рядом с ним (на это место НИКТО и НИКОГДА добровольно не садился), я не забуду всю жизнь. И шепот «С вонючкой села! Сама провоняет!». В общем, это было почти социальное самоубийство с моей стороны. Но внутри было это вот новое чувство, и выбора не было. Как бы я теперь назвала, мораль проклюнулась. Как раз в 12. И ничего, обошлось. Поудивлялись и приняли как факт. Видимо, мораль начала не только у меня уже прорезаться, дети были умные. А мальчик потом приходил ко мне домой, я его по русскому подтягивала, очень интересный оказался, вежливый и читал много. Как-то потише стало вскоре с травлей. Не полюбили его, конечно, но обижали меньше.

Но до 12 с собственной моралью у детей слабовато (еще и мозг не созрел). И задавать им моральные ориентиры обязаны взрослые. Дети в этом возрасте очень готовы их услышать и принять. И наоборот, в подростковой уже группе взрослый может и не справиться, если там уже сложилась, так сказать, «антимораль». По крайней мере, ему будет гораздо труднее.

2. Оправдывать, объясняя.

Объяснений, почему возникает травля – воз и маленькая тележка. Здесь и потребность возраста, и давление закрытой системы (школа, тюрьма, армия), и групповая иерархия (альфы-омеги), и личные особенности детей (например, пережитый опыт насилия, приведший к виктимности или агрессивности). Все это очень важно и интересно, и безусловно стоит изучать и понимать.

Но. Если из всего этого делается вывод: «Так что же вы хотите, вот ведь сколько причин, потому и травят», – это и есть оправдывать, объясняя. Травля в конкретном классе, от которой страдают прямо сейчас конкретные дети – не вопрос научных изысканий, это вопрос морали и прав человека. С этой точки зрения пофиг, кто какая буква. Будь ты хоть трижды альфа, будь он хоть сто раз странный и «не такой», травить не смей!

Если в голове у взрослого такого твердого убеждения нет и он в упоении от собственной проницательности «анализирует

причины» вместо того, чтобы дать определенную оценку и выдвинуть требования, остановить травлю он не сможет. Это как раз было в нашем случае, когда учительница на все мои разговоры приводила примеры, как дети, которых травят, отличаются от других детей в классе, и вот, мол, все поэтому. И мне не хватало твердости четко сформулировать, что все это очень интересно, может быть, и правда, только никакого отношения не имеет к вопросу обеспечения психологической безопасности детей во вверенном ей классе. И когда она прибегала к излюбленному ходу: «Нет, а вот скажите, а со своего ребенка вы, значит, совсем снимаете ответственность за эту ситуацию?», – мне давно надо было сказать: «Совсем. Она никого не била и не травила, а такой, как все, быть не обязана».

Кроме того, причины часто столь глобальные, что устранить их невозможно. Скажем, агрессию в обществе или насильственность и закрытость школьной системы. Или вот дети, обделенные любовью родителей и потому самоутверждающиеся за счет других, всегда были, есть и будут. Это не значит, что надо терпеть травлю. Надо ставить цели скромнее: нет задачи изменить причины, есть задача изменить поведение конкретной группы детей.

3. Путать травлю и непопулярность.

Подмена проблемы. Никто никому не обязан, чтобы его все любили. Не могут быть все одинаково популярны. Суть травли – не в том, что кто-то кого-то не любит. Суть травли – насилие. Это групповое насилие, эмоциональное и/или физическое. И именно за это отвечает взрослый, которому доверена группа детей. За их защищенность от насилия.

Многим детям, кстати, и не нужна особая популярность в классе, они вполне без нее проживут. Они могут быть от природы интровертны, застенчивы или просто душой принадлежать не к этой, случайно собранной по административному признаку, а совсем к другой группе. Они хотят одного – безопасности. И имеют на нее полное право.

Педагоги, сводящие все к непопулярности, часто искренне стараются исправить ситуацию. Они обращают внимание группы на достоинства жертвы, пытаются повысить ее рейтинг особыми поручениями и т. д. Подобных предложений было много в комментариях. И это все очень мило и действенно, при одном условии: травля как насилие уже прекращена. Тогда да, – можно грамоты на стенку вешать. Если нет – все и любые достоинства жертвы в глазах группы, захваченной азартом травли, будут мгновенно превращены в недостатки. Выиграл олимпиаду –

«ботан». Помог кому-то – «подлиза». Нарисовал хорошо – «художник-мазила-мочи Левитана». Все в таком духе. В грязной атмосфере насилия не пробьются ростки интереса и уважения. Сначала надо провести дезинфекцию.

Эту ошибку, кстати, нередко поддерживают детские книжки и фильмы. Соверши подвиг, впечатли всех, и жизнь наладится. Если дело только в непопулярности – может быть. Если идет травля – нет. И даже, может быть, наоборот. Как-то я общалась с девицей, со вкусом вспоминавшей, как они в каком-то лагере для детей-мажоров травили Яну Поплавскую, которая вип-родителей не имела, а путевку ей дали после успеха фильма про Красную Шапочку. Травили, «чтобы знала, что она все равно не нашего круга, хоть и артистка». Сама девица была похожа на крысу, если честно.

4. Считать травлю проблемой жертвы.

Конечно, явственно страдает именно жертва. Те, кто травят, прямо сейчас могут выглядеть очень довольными собой. Однако важно понимать, что страдают в результате все.

Страдает жертва, получившая опыт унижения, отвержения и незащищенности, травму самооценки, а то и нарушения эмоционального развития из-за долгого и сильного стресса.

Страдают свидетели, те, кто стоял в стороне и делал вид, что ничего особенного не происходит, и в это самое время получал опыт бессилия перед властью толпы и стыда за свое слабодушие, поскольку не решился вступить и поддерживал травлю из страха самому оказаться жертвой. В комментариях много было такого опыта. Этот опыт иногда может быть полезен для подростка, у которого уже есть достаточно сил для морального выбора. Приводили примеры, как испытанный острый стыд заставлял что-то делать. Но для ребенка младшего возраста такой опыт всегда травматичен и разрушителен, стыд загоняет его в угол, и все. Это все равно как насильно ставить ребенка на ноги до того, как они достаточно окрепли. Будет искривление костей.

Страдают преследователи, получая опыт шакалов в стае, или опыт кукловода, опыт безнаказанности, иллюзию своей силы и правоты. Этот опыт приводит к огрублению чувств, отрезанию возможностей для тонких и близких отношений, в конечном итоге – к деструктивным, асоциальным чертам личности. Пиррова победа, которая потом обернется одиночеством и положением изгоя во взрослом коллективе, где никто уже не станет особо бояться такого «булли», а вот общаться с ним не захочет. Даже если он будет успешен и станет начальником, счастья в его жизни будем немного, носи он хоть сплошное «Прада», как известно.

Наконец, это все плохо для группы в целом, для ее эффективности, способности справляться с трудностями. Насилие – страшный пожиратель энергии, ни на что другое сил у группы уже не остается. В том числе и на учебу.

Так что если это не вашего ребенка травят – не думайте, что лично у вас нет повода для беспокойства. Не говоря уже о том, что тлеющая подолгу травля всегда прорывается вспышками настоящего насилия, как это было в случае с дочкиным другом. И тогда абсолютно любой – в том числе и ваш – ребенок может оказаться «назначен» группой исполнить ее волю и «дать ему как следует». Он сам потом не сможет объяснить, почему так озверел и почему сделал то, что ему вовсе не свойственно. Ну, а дальше варианты. Либо он сам рискует совершить серьезное преступление, либо доведенная до отчаяния жертва даст отпор и...

5. Считать травлю проблемой личностей, а не группы.

Это подход типа «все дело в том, что они такие».

Чаще всего приходится слышать, что жертва – «такая» (причем неважно, в негативном ключе: глупая, некрасивая, конфликтная, или в позитивном: одаренная, нестандартная, «индиго» и т. д.).

«Козлом отпущения» может стать каждый. Это иллюзия, что для этого надо быть каким-то особо ненормальным. Да, иногда и так бывает. А иногда и вовсе наоборот. И вообще как угодно. Очки (веснушки), толщина (худоба), национальность, бедная одежда – все пойдет. Да, есть качества, которые способствуют закреплению этой роли – чувствительность, обидчивость, просто повышенная ранимость в этот период. Есть и особый случай детей виктимных, переживших насилие и так привлекающих внимание к себе. Но в общем и целом причина травли – не в особенностях жертвы, а в особенностях группы. Один и тот же ребенок может быть изгоем в одной группе и своим в другой. Или перестать быть изгоем в той же самой за короткий срок, скажем, после смены классного руководителя.

Точно так же не имеет смысла сводить причину травли к качествам тех, кто травит: они «звери, гаденыши, быдло, наглые отпрыски нуворишей» и т. п. Опять-таки, конечно, роль инициаторов травли часто берут на себя дети, не самые благополучные внутренне. Но одних только их качеств недостаточно. Я много раз наблюдала, как самые отъявленные травители, случайно оказавшись с дочкой вдвоем, например, на продленке, мирно с ней играли. И опять-таки, при смене взрослого лидера или позиции этого лидера по отношению к

происходящему нередко «эти сволочи» поразительно быстро меняют свое поведение, хотя, конечно, не могут так стремительно решить свои внутренние проблемы или повысить свой культурный уровень.

Эта ошибка лежит в основе попыток преодолеть травлю путем «разговоров по душам» или «индивидуальной работы с психологом». С жертвой ли, с агрессорами ли. Травля, как любое застревание в деструктивной динамике, – болезнь группы. И работать надо с группой в целом. То же относится к попыткам «взять за грудки». Это может защитить конкретного ребенка, но группа, вкусившая «крови», тут же выберет другую жертву. Просто убрать жертву или зачинщика, все сведя к их личным особенностям, тоже не факт, что поможет – действие вполне может продолжиться с другими исполнителями главных ролей.

Пытаться решить проблему травли, решая личные проблемы действующих лиц, – все равно что пытаться решить проблему аварий на дорогах не разумными ПДД и контролем за их исполнением, а развитием у каждого отдельного водителя скорости реакции, вежливости и любви к ближнему. Конечно, помогать детям решать внутренние проблемы тоже нужно, но это работа долгая и в ситуации актуальной травли невозможная обычно. Надо сначала прекратить травмирующее воздействие, а потом уже лечить.

6. Давить на жалость.

Пытаться объяснить агрессорам, как жертве плохо, и призывать посочувствовать. Не поможет чаще всего. Только укрепит их в позиции сильного, который хочет – казнит, хочет – милует. А жертву обидит, унизит или подкрепит ее беспомощность. Особенно если это мальчик. Я про это писала в книжке «В класс пришел приемный ребенок», там, где история Тимура. Очень частая ошибка.

7. Принимать правила игры.

Это самое важное, пожалуй. Ошибка – выбирать между виктимностью и агрессией.

Любая ситуация насилия провоцирует именно этот выбор. Либо «меня бьют, потому что я слабый, и всегда будут бить». Либо «меня бить не будут ни за что, я сильный и бить буду я». При всей кажущейся разнице обе эти позиции сходны. Они обе базируются на одном и том же убеждении о том, как устроен мир. А именно: «сильный бьет слабого». Поэтому если взрослый идентифицируется или подталкивает ребенка идентифицироваться с одной из этих позиций, он тем самым

подкрепляет эту картину мира.

Подталкивать ребенка – это значит говорить ему «подумай, что ты сам делаешь не так» или «дай ему, чтоб nepовaдно было». В том и другом случае ребенок получает от взрослого такое послание: «Мир, знаешь ли, устроен так, и другого мира у нас для тебя нет. Ты можешь капитулировать перед насилием, предать себя и измениться так, как от тебя требуют. Им виднее, каким ты должен быть, они сильны, а значит – правы. Или можешь наплевать на собственную безопасность (не бойся!) и озвереть, тогда тебя не тронут. Еще вариант: отрезать от себя чувства (не обращай внимания!) и научиться изображать лицом не то, что происходит внутри. Выбирай, детка!». По сути, взрослый в этом случае солидаризируется с травлей как явлением и оставляет ребенка один на один с ней. Ребенок за всеми этими «Учись налаживать отношения» или «Дай сдачи» слышит: «Тебя никто не защитит, даже не надейся. Справляйся сам, как знаешь».

Собственно, оно, может, и ничего, если, опять же, мы имеем дело с подростком, которому уже пора обретать самостоятельность и рассчитывать на себя. Если до этого у него было достаточно поддержки, и если сейчас он все же застрахован от совсем крайних проявлений насилия, он может справиться. Тогда, как справедливо кто-то отметил, это будет инициация, опыт болезненный, но ведущий к развитию. Заодно подросток сможет принять собственное решение о том, так или не так устроен мир, и готов ли он с этим мироустройством согласиться. Это тоже зависит от того, была ли ему прежде взрослыми предъявлена иная система ценностей, и есть ли у него тыл в семье.

Если же ребенок младше, такое поведение взрослых лишает его защищенности и обрекает на преждевременную инициацию. Которую да, сильный ребенок может пройти, но всегда дорого за это платит. А слабый так и вообще ломается. И начинает верить, что «мир устроен так». Такие волны этой детской незащищенности плескались в комментариях к прошлым постам...

Когда я писала, что нужно идти на конфронтацию, я именно это имела в виду. Не конфронтацию с конкретными глупыми детьми, а конфронтацию с правилами игры, по которым «сильный имеет право бить слабого». С травлей как насилием, как болезнью, отравой, моральной ржавчиной. С тем, чего не должно быть. Что нельзя оправдывать, от чего любой ребенок должен быть защищен – и точка.

Этот тот самый главный вывод, о котором я уже писала. Без конфронтации здесь невозможно, уговоры не помогут,

«командообразование» тоже. Идти на конфронтацию неохота, неловко, нет опыта, потому что сами мы почти все имеем опыт жертвы и/или опыт травящего, и сами мечемся между виктимностью и агрессивностью, достаточно те же комменты почитать.

А надо.

* * *

Теперь, что можно сделать. Конечно, ситуации очень разнообразны, это общие принципы и шаги.

1. Назвать явление.

Никаких «У моего сына (у Пети Смирнова) не ладится с одноклассниками». Когда ребенка намеренно доводят до слез, согласованно и систематически дразнят, когда отбирают, прячут, портят его вещи, когда его толкают, щиплют, бьют, обзывают, подчеркнуто игнорируют – это называется травля. Насилие. Пока не назовете своим именем, все будут делать вид, что ничего особенного не происходит.

Дальше нужно понять, кто готов взять на себя ответственность за прекращение этого дела. Признак того, что готов – как раз готовность назвать травлю травлей. Идеально, если это сразу учитель. Если же он продолжает петь песню про «Ну, он такой» – придется пойти выше. Надо найти того, кто назовет происходящее своим именем. И с него начинать работу. Если это руководитель, пусть отдаст распоряжение и отследит выполнение, или сделает сам, раз подчиненные не способны. Обращаться во внешние инстанции – крайний вариант, но, если нет другого выхода, тянуть не надо. В нашем случае только с уровня директора пошли изменения. Директор тоже попыталась играть в игру «А что же вы со своим ребенком не поработали», но после вопроса: «То есть вы расписываетесь в том, что ваш педколлектив с травлей ребенка в классе справиться не может?» – быстро сменила стиль разговора и мы обо всем мило договорились.

Дальше тот взрослый, кто взял на себя ответственность, для простоты будем называть его учителем, хотя это может быть школьный психолог, вожатый в лагере, тренер, завуч и т. д., должен поговорить с группой, в которой происходит травля, и назвать явление группе.

По многим комментам бывших «травильщиков» видно, насколько дети не осознают, что именно делают. У них в голове

это называется «мы его дразним», или «мы так играем», или «мы его не любим». Они должны узнать от взрослого, что когда они делают так и эдак, это называется вот так, и это – недопустимо.

Бывает, необходимо описать ситуацию с точки зрения жертвы. Мне, как ни странно, потребовалось делать это для педагогов. Иначе не получалось вытащить их из «подумаешь, дети всегда друг друга дразнят». Я им предложила представить себе: «Вот вы приходите на работу. Никто не здоровается, все отворачиваются. Вы идете по коридору – сзади смешки и шепот. Вы приходите на педсовет, садитесь. Тут же все сидящие рядом встают и демонстративно отсаживаются подальше. Вы начинаете контрольную – и обнаруживаете, что заранее записанное на доске задание кто-то стер. Вы хотите заглянуть в свой ежедневник – его нет на месте. Позже вы находите его в углу туалета, со следами ног на страницах. Однажды вы срываетесь и кричите, вас тут же вызывают к директору и отчитывают за недопустимое поведение. Вы пытаетесь пожаловаться и слышите в ответ: “Нужно уметь ладить с коллегами!” Ваше самочувствие? Как долго вы сможете выдержать?»

Важно: не давить на жалость. Ни в коем случае не «представляете, как ему плохо, как он несчастен?». Только: как было бы вам в такой ситуации? Что чувствовали бы вы? И если в ответ идут живые чувства, не злорадствовать и не нападать. Только сочувствие: да, это всякому тяжело. Мы люди и нам важно быть вместе.

Иногда первого пункта и хватает, если только-только началось.

2. Дать однозначную оценку.

Люди могут быть очень разными, они могут нравиться друг другу больше или меньше, но это не повод травить и грызть друг друга, как пауки в банке. Люди на то и люди, разумные человеки, что они способны научиться быть вместе и работать вместе без того, чтобы. Даже если они очень-очень разные и кто-то кому-то кажется совсем неправильным. Можно привести детям примеры, что нам может казаться неправильным в других людях: внешность, национальность, реакции, взгляды, увлечения и т. д. Привести примеры, как одно и то же качество в разные времена и в разных группах оценивалось по-разному. Есть еще классная ролевая игра про кареглазых и голубоглазых, но ее должны проводить профессионалы. А мозги хорошо прочищает.

Конечно, все это получится, только если сам взрослый так искренне считает. Это должна быть проповедь, а не нотация.

3. Обозначить травлю как проблему группы.

Когда на людей наезжают, предъявляя им моральное обвинение, они начинают защищаться. В этот момент их не интересует, правы они или нет, главное – оправдаться. Дети не исключение. Особенно дети-зачинщики травли, потому что очень часто это дети с нарциссической травмой, абсолютно неспособные переносить стыд и вину. И они будут драться, как гладиаторы, за свою роль «супер-пупер альфа». То есть в ответ на название травли насилием, вы услышите: «А чего он? А мы ничего... А это не я», – и все в таком духе. Понятно, что толку от обсуждения в таком ключе не будет. Поэтому не надо его вести. Не надо спорить о фактах, выяснять, что именно «он», кто именно что и т. д. Нужно обозначить травлю как болезнь группы. Так и сказать: есть болезни, которые поражают не людей, а группы, классы, компании. Вот если человек не моет руки, он может подхватить инфекцию и заболеть. А если группа не следит за чистотой отношений, она тоже может заболеть – насилием. Это очень грустно, это всем вредно и плохо. И давайте-ка вместе срочно лечиться, чтобы у нас был здоровый, дружный класс. Это позволит зачинщикам сохранить лицо и даже предоставит им возможность хотя бы попробовать примерить роль неdestructивной «альфы», которая «отвечает за здоровье класса». И, что особенно важно, это снимает противопоставление между жертвами-насильниками-свидетелями. Все в одной лодке, общая проблема, давайте вместе решать.

С детьми постарше можно посмотреть и обсудить «Повелителя мух» или (лучше) «Чучело». С маленькими – «Гадкого утенка».

4. Активизировать моральное чувство и сформулировать выбор.

Результат не будет прочным, если дети просто прогнутся под формальные требования учителя. Задача – вывести их из «стаинового» азарта в осознанную позицию, включить моральную оценку происходящего. Можно предложить детям оценить, каков их вклад в болезнь класса под названием «травля». Допустим, 1 балл – это «я никогда в этом не участвую», 2 балла – «я иногда это делаю, но потом жалею», 3 балла – «травил, травлю и буду травить, это здорово». Пусть все одновременно покажут на пальцах – сколько баллов они поставили бы себе? Если это не подростки, «троек» не будет, даже у самых отпетых агрессоров. В этом месте ни в коем случае нельзя пытаться уличить: нет, на самом деле ты травмишь. Наоборот, нужно сказать: «Как я рад, у меня от сердца отлегло. Никто из вас не считает, что травить –

это хорошо и правильно. Даже те, кто это делал, потом жалели. Это замечательно, значит, нам будет нетрудно вылечить свой класс». Так моральная оценка травли становится не внешней, навязанной взрослым, ее дают сами дети.

Если группа очень погрязла в удовольствии от насилия, конфронтация может быть более жесткой. Я описывала прием с «Гадким утенком» в книжке, перескажу здесь коротко. Напомнив детям тот отрывок, в котором описана травля, можно сказать примерно следующее: «Обычно, читая эту сказку, мы думаем о главном герое, об утенке. Нам его жаль, мы за него переживаем. Но сейчас я хочу, чтобы мы подумали о вот этих курах и утках. С утенком-то все потом будет хорошо, он улетит с лебедями. А они? Они так и останутся тупыми и злыми, неспособными ни сочувствовать, ни летать. Когда в классе возникает похожая ситуация, каждому приходится определиться: кто он-то в этой истории. Среди вас есть желающие быть тупыми злобными курами? Каков ваш выбор?».

Этот же прием может помочь родителям осознать, что если травят не их ребенка, а наоборот, это тоже очень серьезно. Их дети находятся в роли тупых и злобных кур, а такие роли присыхают так крепко, что начинают менять личность. Они этого хотят для своих детей?

Для индивидуального разговора с ребенком, не понимающим, что плохого в травле, это тоже подходит.

5. Сформулировать позитивные правила жизни в группе и заключить контракт.

До сих пор речь шла о том, как не надо. Ошибкой было бы остановиться на этом, потому что, запретив детям прежние способы реагировать и вести себя и не дав других, мы провоцируем стресс, растерянность и возвращение к старому.

Момент, когда прежняя, «плохая» групповая динамика прервана, раскрутка ее губительной спирали прекращена, самый подходящий, чтобы запустить динамику новую. И это важно делать вместе.

Достаточно просто вместе с детьми сформулировать правила жизни в группе. Например: «У нас никто не выясняет отношения кулаками. У нас не оскорбляют друг друга. У нас не смотрят спокойно, если двое дерутся – их разнимают». Если дети постарше, можно разобрать более сложные ситуации, например, люди по-разному чувствительны и то, что для одного – дружеская борьба, другому может быть больно. Это может найти отражение в таком, например, правиле: «Если я вижу, что невольно задел и обидел человека, я прекращу делать то, что я делаю,

немедленно». Но слишком много, тонко и сложно не надо, по крайней мере, для начала.

Правила выписываются на большом листе, и за них все голосуют. Еще лучше – чтобы каждый поставил подпись, что обязуется их выполнять. Этот прием называется «заключение контракта», он прекрасно работает в терапевтических и тренинговых группах для взрослых, и с детьми тоже вполне эффективен. Если правила кто-то нарушает, ему могут просто молча указать на плакат с его собственной подписью.

6. Мониторинг и поддержка позитивных изменений.

Это очень важно. В нашем случае это была главная ошибка: я поговорила с директором, та кого-то приструнила, вроде стало лучше, и мы не стали дожимать, надеясь, что все постепенно выправится. А оно притихло, но тлело, как торфяное болото.

Очень важно, чтобы взрослый, который взялся разруливать ситуацию, не бросал группу. Он должен регулярно спрашивать, как дела, что удастся, что трудно, чем помочь. Можно сделать «счетчик травли», какой-нибудь сосуд или доску, куда каждый, кому сегодня досталось, или кто видел что-то похожее на насилие, может положить камешек или воткнуть кнопку. По количеству камешков определяется, хороший ли сегодня был день, лучше ли на этой неделе, чем на прошлой и т. д. Да множество есть всяких фишек, тренеры и игротехники их знают.

Суть в том, что группа постоянно получает заинтересованный интерес от авторитетного взрослого, и по-прежнему считает победу над травлей своим общим делом.

7. Гармонизировать иерархию.

Вот теперь пора думать про популярность. Про то, чтобы каждый имел признание в чем-то своем, мог предъявить себя группе, быть полезным и ценным в ней. Праздники, конкурсы, смотры талантов, походы, экспедиции, игры на командообразование – арсенал богатый, гуляй – не хочу. Чем дольше группе предстоит прожить в этом составе, тем этот этап важнее.

Признак гармоничной групповой иерархии – отсутствие жестко закрепленных ролей «альф», «бет» и «омег», гибкое перетекание ролей: в этой ситуации лидером становится тот, в той – другой. Один лучше всех рисует, другой хохмит, третий забивает голы, четвертый придумывает игры. Чем больше разнообразной и осмысленной деятельности, тем здоровее группа.

Ну, это уже из серии «совсем хорошо». В принципе,

достаточно мирного, спокойного сосуществования, а реализовываться дети могут в других местах.

Как-то так. Никакой тут нет Америки, и непонятно, почему учителей чему-то такому не учат. Конечно, есть множество осложненных ситуаций, например, агрессивное поведение жертвы, или устойчивая виктимность, или поддержка травли родителями. Но это уже надо вникать и думать, как быть в данном случае. А общую стратегию я примерно описала.

Предельный способ

8 января 2015 г.

(Написано вскоре после террористического акта в редакции «Шарли Эбдо» – Л.П.)

Вчера посмотрели с младшим ребенком «Житие Брайана». В виде акции солидарности со всеми, пострадавшими от мракобесов всех мастей.

Все это потакание истерикам «Ах, наши чувства оскорбили, быстро умоляйте о прощении, а то мы забудем вас камнями» приводят в конечном итоге вот к этому.

Если можно посадить на два года девчонок за «оскорбительную» песенку.

Если можно преследовать уголовно за «оскорбительную» трактовку истории, будь то отрицание Холокоста или отрицание безупречности и непогрешимости советских воинов-освободителей.

Если можно травить ученого-астрофизика за «оскорбительную сексистскую» рубашку.

Если все эти массовые истерики поддерживаются государствами и просвещенной общественностью, почему нельзя кому-то в конце концов уже пойти и пресечь саму возможность дальнейших «оскорблений» на корню, чтоб потом никому не повадно было?

При этом везде и всюду как будто уже нормой стало, что взрослые люди перестали различать чувства, сколь угодно оскорбленные, и реальный ущерб. Мыслепреступление (словопреступление, картинкопреступление, рубашко-преступление) и реальное насилие. Отдельным пунктом перестали различать прямое оскорбление и такое, когда, чтоб оскорбиться, надо сначала специально купить журнальчик или найти в ютубе ролик, всмотреться пристально, кто как одет, потом хорошенько пофантазировать (а что, если кто-то, увидев и услышав вот это, вдруг решит, что...), и уж тогда оскорбляться по полной, как в анекдоте про старушку: если встать у окна на табуреточку, и вот так изогнуться, то увидишь у них там таааакое!

Это состояние оскорбленности, в котором все дозволено, состояние истерики, особенно коллективной – оно на самом деле очень сладостно, это измененное состояние сознания, опьянение собственной обидой и правотой, своего рода наркотик. Можно все, можно отпустить тормоза и отдаться потоку «священного»

гнева. На этом основаны 99 % процентов успеха «профессиональных психопатов» а-ля Жириновский – они делают и говорят то, что слушатели хотели бы, но не смеют. Истерика привлекательна, она соблазняет возможностью сбросить все пошлые ограничения самоконтроля и приличий, она дает возможность Тени вырваться наконец на свободу и заговорить в полный голос. И Тень оказывается тем более могучей и безжалостной, чем дольше она просидела за фасадами лицемерия, «защиты прав дискриминированных», «защиты от оскорбления», «восстановления справедливости», «великого служения» и прочего в таком духе.

Если эта истерика еще и постоянно получает позитивное подкрепление (заверещи погромче и помассовей – и все будет так, как ты требуешь), стоит ли удивляться, что этот паттерн только разрастается, становится все более выраженным. Обида так легко и естественно переходит в насилие, ах, этот славный треугольник Карпмана, как стремителен бег по нему!

Истерики как инфантильный способ заявлять о своих интересах могут быть свойственны и отдельному человеку, и группам людей, особенно объединенных идеей «нас все обидели и нам все должны».

За таким восприятием себя и мира обычно стоят реальные травматические события, реальная боль, реальная несправедливость. Сами по себе чувства могут быть действительно сильными и неприятными, это может вызывать сочувствие, можно – и нужно – обсуждать, как помочь тем, кто чувствует себя обиженными, как выразить им поддержку, как исправить несправедливость. Особенно хорошо это получится, если пострадавший перестанет блажить и упиваться собственной обидой, а внятно сформулирует свои интересы и будет готов к переговорам с другими людьми, у которых тоже есть интересы.

Мы можем сочувствовать, например, человеку с посттравматическим синдромом, который он получил в горячей точке, но это не дает ему права запугивать и терроризировать свою семью или соседей. Мы можем признавать несправедливость и дискриминацию по отношению к какой-то общности, в прошлом или настоящем, но это не дает самой общности права на буллинг, на травлю любого, кто усомнится в ее священной правоте или в догматах ее верований, и уж тем более на применение силы.

Нельзя давать обиженному индульгенцию делать все, что угодно, раз он обижен. Нельзя превращать обиженность в валюту, которую можно легко обратить в пряники для себя и в кнут для окружающих. Хотя бы потому, что тогда будет слишком много заинтересованных в том, чтобы поток обид не иссякал никогда.

Если государство и общество начинают подыгрывать истерикам, если чьи-то оскорбленные чувства начинают конвертироваться в запреты на реализацию основных прав и свобод, в запрет на профессию, в уголовные преследования – жди беды.

Потому что предельный способ прекратить оскорбления и спасти наконец невинных жертв – это убить обидчика. А чего вы хотели?

«Иди и бейся от нашего имени»

Про героев и толпу на примере одной интернет-травли

21 января 2016 г.

«Два дня славы и последующие за ними несколько дней Ада дали мне такой опыт, которому не научат ни в одном Университете», – написал Константин Сенченко по следам нашумевшей истории с оскорблениями-извинениями в адрес Кадырова (*Константина угрозами заставили принести извинения за критическое высказывание в блоге в адрес Рамзана Кадырова – Л.П.*).

Еще бы. Такое может о себе сказать каждый, кто оказывался когда-либо на острие групповой динамики. Даже если это динамика небольшой группы, какого-нибудь отдела в организации. А уж если группа размером со страну...

В таких случаях человек, что-то сказавший или сделавший, вольно или невольно, осознанно или не вполне, подает группе сигнал (точнее, группа его считывает из его действий и слов), соответствующий неким групповым чаяниям. В этом сигнале группе мерещится возможность разрешить ее внутренний конфликт, возможность сказать, наконец, вслух о том, что замалчивается. Возможно, говорить об этом небезопасно, невыгодно или неприятно для самооценки. Поэтому начинать никому не хочется. Но потребность заявить о противоречии накапливается, нависает, как козырек камней над обрывом. И вот у кого-то сдают нервы, как написал сам Константин, после бессонной ночи, на фоне тревоги за близкого человека. Так оно обычно и бывает. В этот момент он оказывается «слабым звеном», точкой, в которой прорывает заговор умолчания. Группа немедленно выталкивает его вперед, как Пересвета, и отправляет недвусмысленный месседж: «Иди и бейся от нашего имени».

Наверное, каждый хоть раз да был свидетелем чего-то подобного. Например, в отделе работает замом Племянница Большого Начальства. Получает больше всех, ничего не делает, ведет себя нагло, всеми командует, мешает работать своими дурацкими идеями и требованиями. Всех достало до чертиков. Но никто не хочет быть крайним и вызывать огонь на себя. Кто-то приспособился, кто-то старается не думать об этом, кто-то фрондирует в безопасных рамках. Пока в один прекрасный день не приходит, например, новый сотрудник, не знающий расклада,

и не дает внятную обратную связь на ее очередную «гениальную» идею. Или коллега, у которой ребенок всю ночь температурил и она очень хочет уйти домой как минимум вовремя, вдруг обнаруживает, что ей надо срочно переделывать работу, которую завалила Племянница. И она, наконец, высказывает вслух все, что на эту тему думает. А может быть, просто кто-то сорвется в ответ на очередное хамство протее. Раньше промолчал бы, а сегодня вот нервы сдали.

Группа, до этого терпевшая, мгновенно просыпается, бросает все дела и начинает «поддерживать» нарушителя статус-кво, но при этом так, чтобы самим не подставляться. Нового сотрудника в доверительной беседе в курилке введут в курс дела, дав понять, что он – настоящий долгожданный герой, свежая кровь, которая так нужна коллективу. Усталой маме в перерыве посочувствуют, сто раз с ней согласятся и приведут аналогичные примеры из собственной жизни. Оскорбленного демонстративно похлопают по плечу и посоветуют написать (от своего лично имени, разумеется) докладную записку начальству. «А мы, если что, подтвердим, что все так и было».

Обычно ничем конструктивным подобные ситуации не заканчиваются. Начальник уволит не Племянницу, а того, кто «вылез». Остальные будут отводить глаза, максимум – сочувствовать в курилке. Чтобы цель группы была достигнута, и конфликт действительно был разрешен, группа должна взять на себя ответственность, «впрячься». Сильная, зрелая, эффективная группа провела бы обсуждение ситуации, сформулировала внятно свои интересы и требования, проявила бы готовность их отстаивать общими усилиями. Коллектив отдела мог бы пообщаться с начальством всей группой, или выдвинув уполномоченных представителей. Или высказать все самой Племяннице, потребовав либо нормального сотрудничества, либо освободить от своего присутствия. Но, скорее всего, сильная, зрелая и эффективная группа и не довела бы дело до такого состояния. Конечно, любая группа всегда имеет шанс сделать рывок в развитии уже в процессе конфликта. Иногда такое происходит. Но чаще все развивается по одному сценарию.

Вольно или невольно человек попадает ровно в «десятку», в болевую точку, и через секунду обнаруживает себя выдвинутым на самую линию фронта, лицом к лицу с враждебной агрессией, и при этом он обвешан наподобие новогодней елки моральными обязательствами перед «своими». Те называют его «мужиком», «героем», «последним оставшимся человеком с чувством собственного достоинства», «будущим лидером» и только что не мессией. В истории с Сенченко все это лавиной пронеслось по

просторам медиа в считанные часы. Все, он попал. Теперь лучи всеобщего внимания скрещены на нем, как оптические прицелы.

Так работает групповая динамика, так выдвигаются лидеры противостояний.

Помните бесконечные дискуссии, любимые в советские времена всякими комсортами и журналистами «Комсомольской правды»: кто лидер – кто не лидер. Социальная психология довольно давно знает, что нет такого постоянного качества личности – «лидер». Желание и готовность быть в центре внимания лидером человека не делают. Желание все и всех контролировать тоже. Эти черты могут позволить взять лидерство, которое «валяется на полу», в ситуации, когда группе, в общем, все равно, кто там будет как бы главным. Членские взносы в несуществующий профсоюз собирать. Ну, давай ты, раз тебе не в лом. Подлинного лидера выдвигает группа в тот момент, когда дело серьезное, а ставки высоки. Тогда она «спинным мозгом» решает, что именно этот человек подойдет для реализации ее потребностей.

Иногда это тот, кто действительно подходит. Так, в ситуации угрозы жизни, например, лидером может стать бывший военный, полицейский, путешественник или другой человек с опытом экстремального выживания, имеющий соответствующие навыки и не теряющий головы. До возникновения экстремальной ситуации он мог держаться в стороне, быть молчаливым и незаметным, и вообще букой, и мало кому нравился (любимый сюжет Голливуда). Или имел вид изнеженного аристократа в белых перчатках (Фандорин), или сумасшедшего профессора не от мира сего (Доктор Кто). А потом «вечер перестает быть томным» – и он мгновенно преображается, берет на себя ответственность. Теперь все идут за ним, и он всех выведет – кого только сможет.

Иногда это кто-то, очень чувствительный к подспудным групповым чаяниям, – своеобразный медиум, напрямую внимающий групповому бессознательному. Часто в прошлом аутсайдер – он долгое время старался найти свое место, понравиться группе, именно поэтому развил в себе тончайшую чувствительность к ее потребностям. И когда группа нуждается в нем, он с готовностью позволяет ей использовать себя, становится ее острием, жертвует не просто жизнью – жертвует собой, своей идентичностью, индивидуальностью ради группы. Так часто ведет себя в семье отвергаемый, нелюбимый ребенок – он готов на любые жертвы, чтобы доказать родителям свою нужность и преданность.

Такие лидеры часто поэтизируются. «Что сделаю я для людей!?!», – сильнее грома крикнул Данко, вырванное из груди

сердце, крест, костер, Жанна д'Арк. Потом группа по уголькам, оставшимся от сгоревшего ради нее лидера, направляется к желанной цели. Зато следующие поколения делают на этом месте мемориал и сувенирные лавки, в которых будут продавать сделанные в Китае магниты на холодильник в виде костра, креста или сердца. Да, и Голливуд, конечно, тоже в стороне не останется. Иногда на эту тему даже снимают кино злое и честное, как, например, «Житие Брайана». Если хотите лучше понять, как работает эта групповая динамика, пересмотрите сцену с «назначением» героя мессией. Он, бедолага, сначала отбивался.

Иногда – да что там, часто – группу переигрывают. Делают, как лохов. Ее чаяния улавливает и стремится оседлать рвущийся к власти манипулятор. Нет, он не вполне обманщик, не было бы чаяний или не попади он точно в струю – не бывать ему наверху. Обман в том, что в реальности его собственные цели для него важнее, он не посвящает себя группе (хотя вслух долго и громко заявляет именно об этом), а использует ее. Либо он действительно реализует волю группы, но вовсе не той толпы легковверных, которой манипулирует, а узкой группы, «внутренней партии», рвущейся к власти и привилегиям за счет тех самых «лохов».

Часто манипулятор подхватывает знамя, выпавшее из рук сгоревшего «Данко», а иногда и намеренно использует беднягу с самого начала, устраняя по достижении цели, – и прошедшие каторгу старые революционеры снова отправляются в лагеря по приказам, подписанным новыми партийными функционерами. Иногда даже бывает, что «Данко» и манипулятор – это один и тот же человек в разные периоды своей жизни, и он умело эксплуатирует и свои компетенции, полученные в бытность аутсайдером, и свои подвиги периода пылкого служения. Вдохновленный основатель проекта становится корыстным циником и властолюбцем.

Манипулятор начинает свой бурный «роман» с группой, улавливая ее тайные фантазии, чаяния и проекции, и немедленно на них отвечает. «Вы хотите песен – их есть у меня». Я один из вас, я понимаю вас. Но при этом гений и знаю, как надо. Я люблю людей. Но беспощаден к врагам, они не люди. Я рыцарь без страха и упрека. И очень, очень скромный. Я так люблю вас всех. Кто-то со мной не согласен? Значит, врагом оказался, как жаль, а я ему верил, придется убрать...

Хотите считать себя самыми-самыми, которым все можно? Я разрешаю – нет – я требую этого от вас! Хотите перестать думать, хотите заменить скучное чувство ответственности на эйфорию любви к Лидеру? Я разрешаю и даже требую. Завтра принадлежит

вам. Сегодня для этого придется закопать миллион-другой, но мы же договорились: нам все можно, и никакой личной ответственности.

Что потом будет, мы знаем – угольки останутся от очень многих членов группы. Выжившие будут еще на поколения вперед отравлены опытом насилия и двойными посланиями токсичного лидера. И, возможно, еще три поколения спустя будут обсуждать – это он нам хорошо сделал или плохо?

Наконец, бывает, как в истории с Сенченко, что группа ошибается и выталкивает в лидеры человека, у которого были совсем другие планы на жизнь. И он, вместо того, чтобы идти и умирать за нее, вдруг оборачивается с недоумением и спрашивает: «Ребята, вы чего?». А высланному ему навстречу Челубею заявляет: «Парень, извини, я здесь как-то внезапно оказался и в таком формате с тобой общаться не планировал».

Ну, тут ему мало не покажется: на него уже навешали проекций, его уже затащили без его ведома на высокий пьедестал, и теперь будут валить с него больно и безжалостно. «Вот же сволочь, а!», «не человек, а дерьмо», «трус несчастный», «тьфу, плюнуть и растереть» – волна разочарования и оскорблений пронеслась так же быстро и мощно, как и первая, восторженная.

В этот момент начинается уже динамика внутри группы «своих». Кто-то проникательный предполагает: «А может, это он не всерьез? Может, это все фейк?». Еще более проникательный идет дальше: «А может, это с самого начала было провокацией? Кому это выгодно, давайте спросим себя?». Кто-то жалостливый говорит: «Наверно, его связали и заставили, угрожали семье». Кто-то склонный рационализировать уже произносит привычное: «И вот всегда у нас так». Дальше следуют философские и исторические реминисценции с цитатами из Платона и Хайдеггера. Потом приходят ответственные и спрашивают: «А чего это он должен там один стоять? Давайте встанем дружно рядом.» Ну, не совсем прям рядом, а подопрем его со спины, чтобы он не мог убежать... то есть, мы хотели сказать, чтоб он мог не сдаваться.

Одновременно боевые пасы в его сторону делает Челубей – он-то на работе, ему нужно миссию выполнить. Его капитализация от этого зависит, в конце концов.

И счастье, если у человека есть в такой момент друзья, которые приезжают в два часа ночи, потому что «хотят побыть рядом».

Мне всегда в подобных случаях вот эти строчки Гребенщикова вспоминаются:

Когда ты был мал,
Ты не знал, все что знал,
И собаки не брали твой след.
Теперь ты открыт, ты отбросил свой щит
И не знаешь, кто прав, и кто слеп.
Ты повесил мишени на грудь.
Стоит лишь тетиву натянуть...
Ты ходячая цель,
Ты уверен, что верен твой путь.

Только вот, похоже, в данном случае герой вежливо отклонил предложение нацепить желтую майку лидера (с нарисованной на ней мишенью), поскольку вовсе не был уверен, что его «верный путь» – посвятить свою жизнь борьбе с Кадыровым. И думаю, был прав.

Ситуация, конечно, мерзкая. Всем же понятно, что режим себе растил, растил опричников, и вырастил. Хотя с цепи пока спускал редко, но и мы поводов практически не давали. А сейчас казна пустеет, ребята волнуются – хватит ли на них? И рвение проявляют... Хорошо бы свернуть тему. Чем меньше вовлеченных зрителей у подобных шоу, тем лучше для всех.

В заключение остается только искренне поздравить всех патриотов и охранителей. Ваш новый вожак уже найден, и он прекрасен. Академик и герой, да.

Избы, полные сора

8 сентября 2016 г.

Одна из наиболее обсуждаемых тем в социальных сетях – дискуссия о том, как в московской школе № 57 в течение более чем десять лет скрывали любовные отношения учителя истории с его ученицами. Позднее выпускники назвали имя этого человека. Правда, эта громкая история всего лишь один эпизод в череде регулярных сообщений о недостойном и часто преступном отношении к детям, встречающемся не только в школе, и не только в России. В связи с этим очень много вопросов: а что делать, чтобы оградить своих детей от подобного? И тут простого ответа нет.

В лоб не получится

Если говорить о том, что сказать самим детям, то рекомендации настолько очевидны, насколько, увы, ничего не гарантируют. Мы можем сто раз повторить ребенку: «Скажи нет – уйди – расскажи родителям», но это может помочь скорее с младшими. Уже с 13 лет они уверены, что сами с усами, они могут думать, что это любовь, они могут иметь множество причин ничего родителям не говорить (и необязательно потому, что у них плохие родители или плохие с ними отношения). При этом они все еще дети, сопротивляться давлению и/или обаянию взрослого им сложно, поэтому «нет – уходи» тоже не срабатывает. Да и мне кажется не очень правильным решать проблему только со стороны детей, как бы на них перекладывая ответственность.

Реально ли вычислять и отсеивать всех педагогов, которые могут испытать сексуальное желание к ученикам?

Тоже нет.

Даже для выявления тру-педофилов, с влечением к неполовозрелым детям, методик, пригодных к массовому применению, не существует. Не говоря уже о правовой стороне вопроса – что, прогонять через унижительную (и дорогостоящую) процедуру всех вообще учителей?

Гораздо чаще, чем педофилия, бывает то, что бесстыжие граждане называют «романами с ученицами», а вообще оно называется сексуальным абюзом (использованием) несовершеннолетнего, находящегося в зависимой ситуации.

В школах у нас учатся до 17–18 лет. Часть учеников и учениц

действительно являются вполне половозрелыми, они могут вести себя провоцирующе, отрабатывая модели эротизированного поведения на всех подряд, включая учителей. Они же дети, они учатся всему, в том числе и этому. Поэтому само по себе желание вполне может почувствовать, общаясь с ними, каждый здоровый человек. Тут никого не выразишь и не отсеешь. Вопрос в другом: позволит ли педагог импульсу быть реализованным. На это и есть взрослость, самоконтроль и профессиональная этика. Чувствуешь, что не справляешься – твой долг немедленно уйти из школы.

А как заранее узнать, позволит данный учитель импульсу перейти в действие или нет? Тестировать? Замерять моральную устойчивость? Уровень нравственности? Так ведь, если говорить о реальных совратителях, они обычно довольно умны и виртуозно лгут, вовлекая в ложь своих жертв. У них самые честные глаза и самый добрый голос. Иначе не было бы случаев, когда подобные практики длятся годами, в них вовлечены десятки детей, и никто ничего не знает – ни родители, ни коллеги. И чем серьезней история, тем меньше обычно утечек. Вскрывается все либо совсем случайно, либо через многие годы. Само собой, такие типы на тест ответят «в лучшем виде».

Далее. Отношения Наставник – Ученик могут быть очень доверительными. Хороший учитель имеет огромное влияние на ребенка, может на время стать для него более значимой фигурой, чем родители, потому что родители – это младенческое прошлое, а учитель – это дверь в будущее. И парадокс в том, что совратители часто бывают действительно очень хорошими учителями – яркими, творческими, харизматичными. Я не знаю, что тут первично – любовь ли к детям в какой-то момент захватывает все грани психики и переходит этически допустимые пределы, или похоть заставляет отращивать в себе качества, обеспечивающие доступ к восторженным ученикам и завладение «добычей». Но сплошь и рядом педагог, близость с которым стала травматичной для одних детей, для десятков и сотен других так и остается примером безусловной порядочности, ума, культуры, человечности – пока все не откроется, но и тогда многие долго не могут поверить. И что, всех хороших учителей теперь подозревать? Пусть работают злобные зануды – с ними точно никто спать не станет?

В общем, лобовых решений «как не допустить» не видно.

И я бы скорее искала ответ не в плоскости «ребенок-педагог». Ведь в истории с 57-й школой общественность потрясли не столько сами факты, сколько то, сколько лет все скрывалось и замалчивалось. «Наконец я не буду сжиматься, когда кто-то отдает мальчика в класс к имярек», – пишет человек, который все

знал много лет. Сжимался, но молчал – почему? Факты уже всплывали 10 лет назад – администрация без всякого открытого расследования представила их коллективу как сплетни, и все с готовностью приняли эту версию. Почему? Пострадавшие описывают свои чувства – не столько травму от собственно события, сколько от давления: «Если расскажешь, школу закроют», «Как я буду смотреть всем в глаза?». И мы видели, насколько опасения жертв были обоснованы, чего только они не слышали в свой адрес.

Абьюз может не быть буквально изнасилованием, но в подобных случаях над жертвой изначально нависает угроза другого насилия – психологического насилия группы. Абьюзер это прекрасно знает и осознанно этим пользуется. Рано или поздно ребенок осознает серийность «романов» и поймет, что был лишь объектом использования, но вдобавок и жертвой мышеловки. Ведь рассказать – значит всех подвести, стать предателем. «Стукачкой», как выразился г-н Носик. Именно поэтому наиболее тяжело последствия абьюза сказываются, если дело происходит в узком кругу «своих» – в семье, в сплоченной группе, в закрытом «клубном» учреждении. Или ты терпишь, поступаясь собой, или в один миг можешь утратить всю свою социальную сеть, которая окрысится на тебя за «вынесение сора из избы». Поэтому первыми часто решаются заговорить не сами жертвы, а их «доверенные лица». Им тоже тяжело, но больше шансов выдержать. И, пользуясь случаем, хочется выразить поддержку всем тем выпускникам и учителям, кто взялся за эту неприятную и непростую миссию.

Так вот. Дело не в том, чтобы никому ничего не хотелось. А в том, чтобы существовали правила игры, при которых никто не питал бы иллюзий, что абьюз можно безнаказанно практиковать, прикрываясь невидимыми, но непрозрачными «стенами» закрытой системы.

Не только школа

К сожалению, у меня реакции «не верю» на первые сообщения про 57-ю не возникло ни на секунду. Я не имею никакого отношения к этой школе, просто слышала о ней много, прежде всего хорошего. Однако интуиция выделяла очень тревожные ноты, признаки дисфункциональной системы, закрытой – а значит, неблагополучной – группы.

В своей жизни я трижды была членом подобных групп разной степени неблагополучия, еще больше раз наблюдала

подобное снаружи. С опытом развивается некая интуиция и чувствуешь словно «запах» подобных систем. Дисфункциональность считается по множеству мелких признаков: как говорят о группе «вновь посвященные», какие изменения с ними происходят, как проживают сепарацию от группы покинувшие ее, как общаются между собой члены группы, как они общаются с нечленами. Этот «запах» я чувствовала много раз, общаясь с участниками тренингов Лайфспринга, посетителями ашрамов индийских гуру, педагогами и выпускниками «элитных» школ и вузов, сотрудниками и волонтерами некоторых НКО, активистами ряда политических объединений, участниками интернет-сообществ про красоту или про воспитание детей. Это не значит, что все тренинги, хорошие школы, политдвижения, НКО, ашрамы и интернет-сообщества дисфункциональны. Это просто о том, как разнообразно может быть явление. Иногда некоторые признаки может приобретать очень большая общность, вплоть до целой социальной страты или страны.

Какие-то черты могут, как «детские болезни», появляться и исчезать по мере развития группы, если в целом она здорова. В плохом сценарии все это будет только нарастать, пока не закончится чем-то чудовищным: сексуальным скандалом, обнаруженными растратами или вообще чьей-то гибелью (инфарктом или суицидом). Мы – социальные животные, мы зависим от групп, в которых состоим. Это очень серьезно.

Я не хочу сейчас писать именно о 57-й, всем участникам и так тяжело и больно. И я ни в коем случае не хочу сказать, что вся эта школа как целое дисфункциональна и вредна для детей.

Дисфункциональные черты могут быть выражены больше или меньше, эти качества группы можно менять и исправлять, и очень хочется надеяться, что так оно и будет в данном случае. Дилемма «все замести под ковер – или уничтожить школу», как теперь понятно, намеренно навязывалась общественности именно теми, кто прикрывал свой собственный зад. Но я знаю множество случаев, когда ничего не уничтожалось, а только становилось здоровее и жило лучше после того, как из учреждения убрали потерявших всякие берега «тех, на ком все держится». Каждый раз выяснялось, что держалось на них не учреждение как таковое, а созданная ими система абьюза, с которой они стригли свои купоны. Самые известные примеры – Разночиновка и Павловский интернат: когда оттуда убрали «отдававших детям всю душу, заменивших им родителей практически святых людей», и пустили волонтеров, дети стали реже умирать, лучше развиваться и их стало проще взять в семью.

Только это может реально повысить уровень безопасности для детей – чтобы системы, в которых они находятся, были как можно менее закрытыми. Чтобы сор в избе не накапливался, и в нем не заходила всякая дрянь.

Благие намерения и развилка

Итак, дисфункциональной мы назовем группу, которая с какого-то момента своего существования начинает отбирать у своих членов больше, чем дает им (кроме тех, кто «рулит» группой, и их приближенных). Та цель, ради которой она была когда-то создана, начинает отходить на второй план, и самоцелью становится защита статуса группы, ради этого выстраивается система абьюза (использования).

Группы, которым грозит дисфункциональность, всегда дают свои членам что-то очень-очень нужное, точно попадают в глубоко неудовлетворенную потребность. Ресурсом может быть разное: здоровье без врачей, лекарств и мучительных процедур; прекрасное образование для детей, школьные годы в творческой, свободной атмосфере; власть (или близость к власти), дающая чувство безопасности; драйв от собственной высокой эффективности, азарт, достижения, особенно для прежде нерешительных, застенчивых людей; смысл жизни, поднимающий над тоской обыденности и т. п. Так или иначе группа обладает (или верит, что обладает) неким «сокровищем»: теорией, идеями, технологиями, особыми возможностями, человеческим потенциалом, обеспечивающим доступ к данному ресурсу. Это никогда не бывает полной фикцией – обычно идея-технология и впрямь работает и дает результат, а люди и правда интересные и талантливые, внутри этой группы и впрямь возможно делать то, что нельзя в других. Нередко в момент создания группы ничего дисфункционального в ней нет: все воодушевлены открытиями, сплочены, много работают, искренне хотят сделать хорошее для людей и для мира в целом. Этот этап может длиться несколько лет, оставляя лучшие воспоминания у участников и самые близкие отношения между ними, те, которые описываются словами «родство душ». Это прекрасное единение в переживании вдохновения: «Мы с тобою, товарищ, не заснули всю ночь. Мы мечтали, мы гадали, как нам людям помочь» (М. Светлов).

А вот потом начинаются сложности. Любая технология – не панацея, любая идея имеет ограничения, прекрасные люди могут устать или поссориться, внешняя среда может измениться на менее дружелюбную. Группа сталкивается с трудностями и

ограничениями. И вот тут возникает развилка.

Один путь – признавать сложности и ограничения, честно говорить, что вы можете, а чего нет; открыто обсуждать и разрешать конфликты; искать свое место на общем поле, поступаясь чем-то; использовать ресурс всей группы для преодоления кризисов, устанавливая внутри группы открытые отношения; держать достаточно «проветриваемыми» внешние границы, вступая в отношения кооперации, сотрудничества на равных с другими группами.

Второй – застрять в фантазии о собственной несравненности: подверстывать под свое видение все, что не укладывается в него, отрицать ограничения и ошибки; обижаться на конкурентов и критиков и видеть в них врагов; искать способы занять привилегированное положение, получить преференции, например, за счет доступа к власти; устанавливать внутри группы неясную иерархию в допуске к принятию решений, создавая «внутреннюю партию» особо приближенных к руководству; закрывать внешние границы, сотрудничать только из позиции «знающего, как надо»; любой ценой блюсти честь мундира и карать членов группы за любое «вынесение сора из избы».

Факторы риска

Есть много факторов, которые толкают группу по второму пути. Так, чем меньше возможностей удовлетворить потребность, собравшую группу, другим способом, чем эксклюзивное «сокровище», тем дальше пойдет дело. У сторонников гуру, который «лечит» от рака, намного больше шансов превратиться в дисфункциональную группу, чем у поклонников системы лечения насморка. И еще таких шансов больше там, где официальная медицина обещает только побои, мучения и унижение. Если действительно хороших школ – единицы, у каждой из них риски превратиться в «закрытый клуб» возрастают на порядки. Если со смыслом и эффективностью в обществе беда, эзотерические секты будут востребованы и будут развиваться в плохую сторону.

Также шансы эволюционировать в дисфункциональную сторону растут, если окружение группы действительно враждебно, и ее деятельность затруднена. Если в обществе запрещены политические объединения, практически любое из них обречено на дисфункцию. Когда группу прессуют снаружи, она сплывается, внутренние границы сминаются и – пошло-поехало. А потом уже могут перестать прессовать, или прессовать весьма умеренно, но находятся лидеры, которым удобно все всегда

сваливать на происки врагов, и под этим соусом обдeldывать свои делишки.

Гораздо больше подвержены риску группы, занимающиеся чем-то «высоким» – помощью сирым и убогим, духовными исканиями, заботой о судьбах мира. Мессиянство – очень злокачественная штука. Никогда не слышала об автомеханической мастерской с выраженной дисфункциональной динамикой.

Сами участники группы, их опыт тоже имеют значение. Например, если многие из них травмированы отторжением в предшествующих группах, они очень ценят наконец обретенное «братство», на многое готовы ради него и шансы на плохой сценарий растут.

Еще один фактор риска – очень серьезный – группу может возглавить (или занять в ней место серого кардинала) человек с социопатическими чертами, ловкий манипулятор, лишенный совести и эмпатии. Вот тогда все становится совсем плохо. Причем обычно социопат очень умен и личностно обаятелен, он тщательно следит, чтобы фасад группы оставался привлекательным, чтобы его деятельность выглядела как бескорыстное служение. Он умеет находить к людям подход, говорить им «те самые» слова, а параллельно раскидывает внутри группы психологическую «паутину», постоянно отслеживая, где и кто дернулся, и «принимая меры».

Недовольных объявляют предателями, неадекватными, ангажированными, и умело затыкают или изгоняют. Одновременно всех остальных раз за разом незаметно, исподволь повязывают общей виной – участием в травле, согласием на несправедливые обвинения, негласными договоренностями об особых, вне «обывательской морали», правилах для этой группы. Постепенно все начинают чувствовать себя затынутыми в «Матрицу», где в одной реальности они живут яркой, осмысленной, полной служения Добру жизни, а подсознательно чувствуют, что связаны по рукам и ногам и уже давно себе не хозяева. Но тепло, удобно, кино хорошее показывают, да и те, кто не был погружен в группу глубоко и остался в роли «клиентов», действительно довольны и счастливы. То есть польза-то обществу есть, жизнь идет не зря.

Подобная ситуация травмирует не только непосредственных жертв травли или абьюза, а всех участников. Либо они оказываются непосредственными свидетелями и страдают от крушения картины мира и жесточайшего конфликта лояльностей. Либо они оказываются вовлечены в процесс отрицания, лжи и травли недовольных – они не могут сопротивляться воздействию

манипулятора, но при этом какой-то частью понимают, что происходит, и чувствуют себя соответственно. Даже те, кто формально был вне группы: члены семей, друзья, и просто случайно оказавшиеся вовлеченными в события люди могут быть надолго и серьезно травмированы происходящим.

Бди!

Вы должны максимально насторожиться, если слышите и наблюдаете со стороны представителей группы набор вот таких установок

1. Мы – избранные, мы – лучшие: самые умные, самые духовные, самые продвинутые, самые патриотичные, самые праведные, самые правильно верующие (нужное подчеркнуть). *От такого в кровь поступает дофамин, глаза блестят, за спиной крылья – начинает формироваться зависимость от группы.*

2. Тем, кто допущен в наш круг, по самому этому факту гарантировано многое: успех, карьера, славные победы, интересная жизнь, лучшие партнеры, общение на высоком уровне, стабильность и процветание (нужное подчеркнуть), ведь мы этого достойны. Будущее принадлежит нам. *Доза усиливается, человек теряет критичность, полностью открывается для группы.*

3. Мы настолько особенные, что многие правила, существующие для всех этих скучных обычных людей, на нас не распространяются, нас нельзя мерить общей меркой. Люди со стороны просто не понимают истинного сакрального смысла того, что мы делаем. Поэтому «ради интересов общего дела» нам можно отступать от «заурядной морали»: врать, травить людей, заниматься сексуальным использованием, присваивать чужое, применять насилие в разных формах (нужное подчеркнуть). *Вечер перестает быть томным. Формируется основа для закрытости и для оправдания абьюза.*

4. Среди избранных нас есть еще более избранные, Отцы-основатели, Лидеры, Старшие, которые так мудры, что все знают и все делают правильно, мы доверяем им как себе (на самом деле себе – уже давно нет), они так умны, так скромны и самоотверженны, с любым вопросом, сомнением и жалобой нужно просто пойти к ним: администрации, директору, гуру, Учителю, Хозяину, Президенту (нужное подчеркнуть). *Рядовые члены группы явно или скрыто отстраняются от принятия решений. Субъектность уже почти передана, крючок загнан глубоко, сейчас начнут тянуть обратно, ой.*

5. Быть избранным – не только приятно, но и трудно.

Поэтому мы все должны: много работать, постоянно развиваться, проходить все новые уровни, пренебрегать семьей и близкими, вкладывать силы, вкладывать деньги, затягивать пояса и не жаловаться (нужное подчеркнуть). *Обычно испытания начинаются уже при приеме в группу: нужно доказать свою «избранность». Чем выше «цена входа», тем ниже шанс уйти без тяжких последствий. Участников начинают готовить к тому, что придется отдавать больше, чем получаешь, и служить группе.*

6. Нас все не любят и хотят нашу группу уничтожить, потому что: завидуют, не любят умных, не любят красивых, не любят праведных, не любят нашу национальность, не любят нашу веру, хотят сами на наше место, хотят безусловной власти, а мы мешаем (нужное подчеркнуть). Закрытость окончательно закрепляется, вовне – враги, сплотим ряды, живем по законам военного времени, какие-то внутренние границы и права человека.

7. Критика в наш адрес – происки врагов, в ее основе: слухи и домыслы, преувеличение и передергивание, искаженное восприятие неадекватных людей, заведомая ложь ненавистников, тщательно продуманный заговор желающих нас уничтожить (нужное подчеркнуть). *Необходимый фундамент для перехода к следующему пункту, полное отключение критичности и обратной связи.*

8. Все проблемы должны решаться внутри нашего круга, лучше кулуарно Лидерами. Выносить ли это на обсуждение всей группы и в какой форме – тоже решать им. Тот, кто «выносит сор из избы», – предатель, стукач, неблагодарная тварь, не в своем уме, хочет попиариться, получает печенки, марионетка в руках врагов, пятая колонна, воткнул нож в спину (нужное подчеркнуть). *Происходит показательная травля и изгнание \наказание «предателя» с участием всей группы. Все, клетка захлопнулась, все условия для безнаказанного абьюза созданы. Теперь уж по кому проедет каток, а кого заставят быть катком – дело случая.*

Насчитали половину признаков и больше? Похоже, дело скверно.

Форма выражения этих установок может быть более грубой и вульгарной, а может быть весьма изящной и тонкой, аккуратно замаскированной. Не знаю, что хуже.

Еще раз хочу напомнить, что отдельные признаки могут быть «болезнями роста» вполне здоровых групп. Тут важно их сочетание и динамика: становится лучше или хуже? А также реакция группы на обратную связь – использует ли она ее для исправления «багов», или уходит в глухую оборону.

Вы хотите войти в такую группу? Подумайте сто раз.

Вы хотите отправить туда ребенка? Подумайте тысячу раз.

Взвесьте плюсы и минусы, риски могут свести на нет все полученное в результате допуска к «сокровищу». Зачем блестящее образование тому, кто в затяжной депрессии? Если плюсов больше, продумайте, как вы будете мониторить ситуацию на предмет определения момента «это уже чересчур», и что будете делать, если он настанет. Наблюдайте за изменениями состояния ребенка, старайтесь быть в курсе происходящего, общаться с разными членами группы, сохраняя дистанцию и критичность.

Самой сложной может быть ситуация, если ребенок уже подросток и выбирает такую группу сам. Это не обязательно секта, все может иметь невинный вид туристического клуба или кружка по философии. Чем больше вы будете беспокоиться и критиковать группу и Лидеров, тем больше ребенок будет отдаляться от вас и уходить туда. Старайтесь любыми способами сохранить отношения, говорить и взаимодействовать про другое, приятное и ценное для вас обоих, чтобы сохранить путь к отступлению открытым. Ваша поддержка понадобится, когда с группой придется расстаться и будет тяжело. Верьте, что он переболеет и справится. Если заподозрите что-то совсем криминальное, будьте готовы бороться. Даже если ваш ребенок уже в безопасности – не оставляйте этого просто так, ведь абюз в будущем может коснуться других детей.

Вы член группы? Не оставляйте без внимания ни одного даже слабого признака проявления этих черт: «их нужно душить, пока они маленькие». Поднимайте разговор о принципах, о правилах, о приоритетах. Настаивайте на прозрачных процедурах принятия решений, старайтесь сохранять критичность, в обсуждениях отмечайте и подвергайте сомнению паранойяльные картинки из серии «мы всегда правы, потому нас и не любят». Никогда не кладите все яйца в одну корзину, всегда имейте жизнь за пределами группы. Никакой «поглощенности без остатка». Никакой «преданности до конца».

Критично относитесь к лидерам группы – признаки обожания их коллективом, особенно если они этому подыгрывают, пусть даже изображая скромность, должны насторожить.

Если группа потенциально здорова, вы окажете ей и себе огромную услугу и сможете пробыть в ней долго и счастливо. Если патологическая динамика окажется сильнее и для вас это закончится конфликтом и изгнанием из группы, то чем скорее это случится, тем лучше, тем меньше будут ваши потери и тем легче

«отходняк».

И еще. Если вы подозреваете, что группой формально или неформально руководит социопат, и нет никаких шансов это изменить, – уходите немедленно. Если есть силы – критикуйте потом извне, помогайте жертвам и изгнанным.

Вы руководитель группы?

Слушайте не тех, кто вам подпевает, а тех, кто с вами спорит, кто задает неудобные вопросы, критикует и сомневается. Относитесь к критике как к обратной связи, а не как к стремлению вас «подсидеть». Сами ищите ограничения вашей технологии, говорите о них вслух. Следите за открытостью границ, пусть люди уходят, оставаясь друзьями, и приходят со стороны, обновляя группу. Не подогревайте мессианство, сохраняйте самокритичность и самоиронию. И следите, чтобы не попасть под влияние какого-нибудь «незаменимого» зама, который сделает из вас ширму для своей игры.

Как-то так.

Берегите себя и детей.

Глава 4

Травма

Война как травма

7 мая 2010 г.

Хочу написать наконец про то, про что уже несколько лет думаю. Про войну как про травму. Как-то показывали фильм документальный про создание мемориала Неизвестному солдату в Александровском саду. Когда выкопали в местах боев неизвестные останки и несли в Москву, чтобы захоронить под стенами Кремля. И выходили толпы людей, весь путь проходил в людском коридоре, никто не ожидал этого, никто никого туда не сгонял. Просто по сторонам молча стояли люди. А потом, когда уже открыли Мемориал, поехали со всей страны. Моя бабушка тоже поехала, аж из Ташкента, потому что ее брат Рафик погиб где-то там, могила была неизвестна, и она думала – а вдруг это он. Каждый думал про своего – а вдруг это он? И шли, шли, шли.

А в Ташкенте было кладбище, где умерших в госпиталях хоронили. И все шли туда, хотя своих-то там не было, со всей страны же везли. Я помню из детства – уже к середине дня были горы цветов выше моего роста. Никто не заставлял, не организовывал. Людям было надо.

И еще помню из раннего детства, как минута молчания проходила – город пустел. Все были у экранов. Как-то мы не успели с мамой и ехали в пустом автобусе по пустым почти улицам.

Тогда же примерно песня появилась про «праздник со слезами на глазах». И вокруг плакали под нее, я видела.

Но послушайте, мое детство – это начало 1970-х. 30 лет прошло! Не год и не пять. Ведь все это поведение людей было не чем иным, как выражением горя. Не радости Победы, не гордости, а именно глубокого, непрожитого горя. Я сейчас не об официальных фанфарах и лозунгах. Я про реальное состояние людей. Сейчас, оглядываясь на прошлое профессиональным уже взглядом, я вижу все признаки проживания острого горя, не прожитого когда-то. Так плачет на сессии клиент, который много лет назад потерял отца или друга и всю жизнь прожил, не позволяя себе прикоснуться к своей душевной ране. А сейчас вдруг прорвало и он плачет, не стесняясь слез, и, даже начав успокаиваться, вдруг снова плачет.

И когда видишь это так, многое, очень многое обретает другой смысл. Довольно трудно писать об этом структурировано, потому что я – часть этого народа и не могу анализировать спокойно. Наверное, еще не скоро кто-то сможет. Это душевная

боль, которая рядом, стоит за плечом. Она еще и сегодня не прожита вполне. Но если я хочу быть понятой, надо как-то постараться.

Итак, травма. Сама по себе травма оказалась самого худшего вида.

Прежде всего, очень обширная и очень глубокая, ведь и правда ни одной семьи не осталось не задетой, а в некоторых районах – каждый четвертый погиб. Всего за пару лет, по сути, – максимум жертв пришлось на первые два года. Это катастрофический масштаб потерь. И даже флаг над Рейхстагом и пакт о капитуляции не отменяют этого факта.

Далее. Погибли не только солдаты, воины с оружием в руках, осознававшие по крайней мере свой путь. Эта война была отмечена огромными потерями среди мирного населения: детей, женщин, стариков. Бросали и убивали раненых, бомбили эшелоны беженцев, морили голодом Ленинград, расстреливали семьями евреев. Гибели невинных, невоюющих, слабых – это многократное усиление травмы. Никакой воинской доблестью тут не утетишься, со смертью солдата Победа помогает примириться, со смертью ребенка – нет.

Еще. Смерть многих людей была мученической, зверской. Это очень сильный фактор травматизации, если знаешь, что близкий, и даже не очень близкий человек, не просто умер, но еще и мучился. А ты ничем не мог помочь.

Более того, армией, которая оказалась по факту небоеспособна, были очень быстро отданы огромные территории, на которых остались люди. «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины...» Травма, отягощенная виной, всегда очень болезненна и имеет тяжелые последствия.

Наконец, самое тяжелое. Эта душевная рана была не только глубока и обширна, она была инфицирована. Известно, что люди легче переносят травму, нанесенную чужим человеком. И с очень большим трудом переживают насилие со стороны близких, особенно родителей, старших братьев и сестер – то есть фигур, ассоциирующихся с защитой и безопасностью. Девочку, на которую напал чужой дядька в лифте, гораздо легче реабилитировать, чем девочку, которую изнасиловал отец. Потому что тогда насильник и защитник соединяются в одном лице, человек не может разделить в своем сердце любовь и ненависть, это состояние называется амбивалентность, сплав чувств, когда любовь и ненависть – одно целое, и их не оторвать друг от друга. Одно из самых мучительных душевных состояний, которые вообще возможны, врагу не пожелаешь. Одно из самых разрушительных для личности и трудно поддающихся терапии.

Травма войны в плане амбивалентности – классический случай. Потому что все знали про штрафбаты, и про СМЕРШ с заградотрядами, и про штурм высот к дню рождения Сталина, и про брошенных в окружении, и про практику побед путем заваливания дотов противника пушечным мясом, и про насильственную мобилизацию женщин и подростков на рытье окопов. Не говоря уже про развал армии и наглую ложь населению про «малую кровь и чужую территорию». Ну, и много чего еще не знали: про осознанную провокацию этой войны, про банкеты в блокадном Ленинграде, про предательство своих, например, Варшавское восстание. Но чувствовали.

Инфицированные раны никогда не заживают легко и гладко. Они кровоточат очень долго и обычно потом ноют всю жизнь, даже если в конце концов зарастают. И их очень важно очищать. При терапии амбивалентности главная задача – отделить все-таки любовь от ненависти, и дать ненависти выход. Тогда человек сможет освободиться и жить дальше. А вот с этим все было очень плохо.

Там еще есть много всего, что отягощало травму, но главное названо, и я пойду дальше. Каковы могут быть и были последствия такой травмы, и каковы были потом, когда все закончилось, условия для исцеления травмы.

Война как травма – 2

7 мая 2010 г.

Пережитая травма рушит образ мира, разрывает эмоциональные связи, вносит в жизнь хаос и чувство незащитности перед силами судьбы. Весь этот болезненный опыт надо пережить, осознать, упаковать, чтобы можно было выстроить новый образ мира и жить дальше. Это большая душевная работа, порой занимающая годы. Чем больше «масштаб поражения», тем дольше длится реабилитация.

Переживание посттравматического синдрома (ПТС) имеет свои стадии, и вот это будет важно для дальнейшего разговора: стадия шока, стадия отрицания, стадия осознания, стадия восстановления.

То есть сначала в ситуации травмы решается задача выживания и скорейшего выхода из травмирующей ситуации. «Лишние» функции сознания выключаются, рефлексировать и тонко чувствовать сейчас не время. Человек в шоке легко подчиняется приказам, его критичность ослаблена. Мы действуем

автоматически, ситуативно, при этом часто совершая усилия, на которые не способны в обычной жизни. В этом состоянии можно не есть, не спать, не чувствовать боли и холода. Потом, оглядываясь назад, невозможно бывает поверить, что все это выдержал, и даже в процессе вроде бы не очень было трудно.

Чувства бывают «приморожены», все прежде значимое становится «не так важно». С другой стороны, когда непосредственная опасность отступает, бывают приступы нарочитой веселости, истеричности, раздражительности. Человек испытывает тревогу, чувство потери контроля над жизнью. Только что он изо всех сил выживал, а сейчас уже не понимает, зачем, собственно, и смерть кажется не таким уж плохим вариантом.

Именно так описывают многие люди в воспоминаниях свое и других состояние во время войны. Конечно, все и у всех бывает по-разному, и все четыре года без перерыва не могут быть сплошной травмой, жизнь продолжалась. Но общие закономерности таковы. Конечно, сама по себе длительность воздействия – тоже отягощающий фактор.

В процессе самой трагедии врачевание душевных ран невозможно. Горе – непозволительная роскошь. Некогда оплакивать мертвых, некогда горевать по своей загубленной молодости, планам, чувствам, некогда вообще копаться в себе.

Помню, какое впечатление произвела на меня в подростковом возрасте книга Ванды Василевской «Радуга». Она была написана прямо тогда, в 1942 году. Мать ходит проводить труп убитого сына-солдата. Другая мать своего застреленного мальчика закапывает прямо в сених дома – там земля не промерзшая. И ходят по этим сеним, а куда денешься. Еще одна мать теряет новорожденного, смотрит, как его топят в проруби. Еще одна ненавидит своего еще не рожденного ребенка, потому что он – плод изнасилования врагом. Дикая, запредельная травма. И почти никаких чувств. Повествование такое сдержанное, просто факты. Нашла лопату, вырыла могилу, положила сыночка, закопала. Все это в одном селе. Все это в тысячи раз превышает масштабы того, от чего в обычной жизни люди сходят с ума, погружаются в депрессии, пытаются покончить с собой. И название чудесное – «Радуга». Стадия шока.

(Только, пожалуйста, не надо мне писать в комментариях, что книга заказная и что Василевская – любимая писательница Сталина. Я все это знаю. Это ничего не меняет абсолютно. Психологически точной книга от этого не перестала быть.)

На стадии шока помочь можно только делом. Спасти, защитить, вывести в безопасное место. Кстати, предание гласит, что именно после просмотра фильма по книге Василевской,

снятого в 1944 году, Рузвельт задал вопрос: «Чем мы можем помочь им прямо сейчас?», и помощь действительно усилилась. Не знаю, правда это или нет, но это нормальная реакция: чем я могу помочь прямо сейчас? Больше ничего не сделаешь. На поле боя, под обстрелом никто не будет доставать пулю и зашивать рану; повязку сверху – и все, до госпиталя. Или дотянешь, или нет. То же самое с душевной травмой.

И только потом, когда прямая угроза позади, начинается собственно процесс проживания травмы. Вот здесь происходили очень важные и интересные вещи.

Все знают про парад Победы, но не все знают, что никакого дня Победы в первые годы после войны не было. Сталин лично запретил его праздновать. Никаких парадов, никаких салютов, никаких цветов ветеранам. Все объединения ветеранов, которых тогда было много, и они были молоды, также были запрещены. Никаких мемориалов, минут молчания, возложений цветов – ничего. Изучение событий войны, публикация воспоминаний не приветствовались.

Согласитесь, странно. Страшная война закончилась. Великая Победа одержана. Казалось бы, для государственной власти, чей авторитет был сильно подорван провалами первых лет, – готовое решение. Делай культ Победы и пользуйся. Но нет. Вместо этого – заговор молчания. Табу на тему.

Почему так вел себя Сталин, более-менее понятно. Меньше всего ему хотелось, чтобы дело дошло до постановки вопроса, пусть просто в умах людей, о его роли во всем этом. У него-то, похоже, иллюзий особых не было насчет своей роли, судя по некоторым признакам. Если уж он почти прямым текстом прощения просил и совсем прямым благодарил народ за терпение...

Гораздо важнее понять, почему сам народ не очень-то сопротивлялся этому замалчиванию. Вот хотя бы те же герои войны. Понятно, что не было никаких встреч школьников с ветеранами. Но встречи-то все равно происходили, хотя бы на коммунальных кухнях. И, порой, сильно приняв на грудь, ветераны рассказывали всякое... Но большинство – не рассказывали. Байки смешные травили или просто отмалчивались, мол, война и есть война, чего там рассказывать.

Книги, подобные «Радуге», после войны не появлялись или, как минимум, не публиковались. Все новые фильмы – бравурные, радостные или лирические. «Мы выжили, мы дожили, мы живы, живы мы». Стихотворение, откуда эти строчки, о другом совсем, но состояние то самое. Радость избавления. Новая жизнь.

В психотерапии ПТС это называется «стадией кажущейся

реабилитации», или «стадией отрицания». Ее признаки, прямо цитирую из пособия: «Улучшение самочувствия, эмоциональный подъем, чувство «начала новой жизни», подавление травматичных воспоминаний и чувств, «шапкозакидательство», обесценивание травмы вплоть до отрицания, рационализация (объяснения, почему все было так, как было, и иначе быть не могло)». Однако при этом: «базовая тревога, чувство беспомощности, регрессия, инфантильные реакции, импульсивность поведения, резкие немотивированные перепады настроения, психосоматические проявления, проблемы с аппетитом (отсутствие или переедание), сексуальные проблемы». Многое здесь вспоминается – и явный глуповатый инфантилизм послевоенных «военных» фильмов вроде «Шесть часов вечера после войны», и много кем отмеченный страх перед фронтовиками, которые могли неожиданно «взорваться», и показное обжорство «Кубанских казаков», и даже то, что «секса у нас нет», над которым только ленивый не смеялся, а, на самом деле, как говорил один мой знакомый, «не смешно ни грамма».

Роль стадии отрицания – обезболивание, анестезия. Она дает передышку непосредственно после травмы, спасительно заслоняет от боли, позволяя после путешествия в ад снова укрепиться в жизни. Чем более безопасна обстановка, в которой оказывается человек после травмы, и чем больше его внутренний ресурс, тем короче будет отрицание. Тем скорее найдутся силы для проработки горя.

А вот с этим было плохо. Жизнь не спешила налаживаться. В реальности жили очень плохо и голодно. Сталин готовился к продолжению войны и собирал еду на складах. Безопасности тоже не было – пошла новая волна репрессий. Плюс внятное требование сверху не помнить, не говорить, не касаться болезненной темы.

В результате произошло то, что часто происходит и в жизни с отдельными людьми – застревание на стадии отрицания. Вместо спасительной передышки она становится искусственной заморозкой на годы. Когда долго работаешь, таких людей сразу видно – узкий, никогда полностью не раскрывающийся рот. Обедненные интонации, зажатая мимика. Неестественность реакций. Посмотрите фильмы последних сталинских лет, и вы поймете, о чем я. Все меньше чувств. Все больше лозунгов. Герои – как марионетки.

И тут, конечно, очень сильноотягчающим обстоятельством стала амбивалентность. Именно после таких травм застревание в стадии отрицания обычно бывает очень серьезным. Дети, пострадавшие от родителей, – самый яркий пример. Они или

вообще ничего не помнят. Или помнят, но не могут об этом говорить, вплоть до потери речи, до потери голоса, до спазмов и судорог при попытках. Или пережитая боль обесценивается – подумаешь, лупили, да мне нипочем. Или рационализируется: так и надо было, как же детей воспитывать без строгости. И очень много поддержки извне и очень много личного мужества надо, чтобы суметь сказать вслух: я пережил насилие. Это было со мной.

Если продолжать аналогию с раной, отрицание подобно пластырю. Сами знаете, что будет, если инфицированную рану плотно заклеить. Некроз тканей обеспечен. Вот и здесь не обошлось. Много отмерло, многое... Живое, теплое, лучшее. И до сих пор не восстановилось.

Но народ – все же не один человек. Всегда есть более сильные, более сохранные, с большим ресурсом. Может быть, у них была хорошая семья, или друзья, или вера, или талант, или культура питала их душевными силами. Так или иначе, как только появилась возможность – прорвало. И об этом дальше.

Война как травма – 3

7 мая 2010 г.

Итак, прорвало.

1957 год – «Летят журавли». Первый фильм о том, что люди чувствовали. О боли, о горе, о потерянной жизни. Перед этим в 1956 – «Судьба человека». Не о битвах. О потерях, об одиночестве. После, в 1959 – «Баллада о солдате».

Начало 1960-х – первые публикации «военной прозы». Быков, Воробьев, Васильев, Бакланов. Пока только первые книги.

1965—67 годы – важнейшие события. Восстановление праздника День Победы. Создание Могилы Неизвестного солдата у стен Кремля. Выход передачи «Минута молчания» на ТВ. Начало работы проекта Агнии Барто «Найти человека». И много еще всего: фильмы, книги, статьи, передачи.

Если имена писателей и кинорежиссеров известны, если за снятие табу «сверху» можно благодарить Хрущева, то кто придумал и сделал реальностью самые целительные, самые терапевтические, самые нужные людям действия – ту же Минуту молчания, то же шествие с останками неизвестного солдата, большинство из нас не знает. Узнать можно, например, прочитав воспоминания Ираны Дмитриевны Казаковой о том, как появилась Минута молчания.

«Степени ответственности и нашей внутренней приподнятости были столь велики, что мы в дни работы ни о чем другом не думали, ничем другим не занимались». Потребность целого народа нашла вдруг выход через нескольких людей, которые в тот момент могли сказать о себе «мы есть дверь». Так всегда бывает. То, что должно прийти в мир, находит выход – через кого-то чуткого, «бродящего бесцельно по коридорам».

«Это был не текст, а молитва». Вот ведь еще что. У народа была перекрыта одна из самых важных возможностей восстановления после травмы – через веру, через обращение к Высшему. Конечно, вдовы и матери ходили тайком в церкви и ставили свечи, но общая трагедия разрешается только в общей молитве и в общих слезах.

Народ откликнулся страстно, всей душой. Слезы горя, слезы облегчения. Наконец можно было плакать, не стыдясь, и чувствуя, что не один. Прорвало. Мы на самом деле плохо представляем себе, чем обязаны всем этим людям. Они сняли наконец пластырь. Они дали темной, настоявшейся уже от времени стихии горя слова, образы, формы, выход. Спасли от душевной гангрены.

Началась стадия осознания. Ее признаки: «переполняющие» чувства, потребность говорить о них; потребность вернуться на место происшествия, воспроизвести детали; полнота и яркость воспоминаний, «повторное переживание»; проживание гнева к насильнику, компенсаторная агрессия; проживание вины и переход от вины к ответственности.

Такая вот работа была проделана за последующие 15–20 лет. Осознание. Тяжкий труд, требующий очень много сил. Кто работал с травмой, знает.

Коллективными терапевтами, как всегда в таких ситуациях, стали люди культуры: писатели, режиссеры. Не буду перечислять все фильмы и книги, их десятки. Только несколько, с датами, чтобы сориентировать по времени: «А зори здесь тихие» Борис Васильев (1968), «Сотников» Василь Быков (1970), «Блокадная книга» Алесь Адамович и Даниил Гранин (1977), фильмы: «Обыкновенный фашизм» (1965), «Белорусский вокзал» (1970), «В бой идут одни старики» (1973), «Иди и смотри» (1985), песни, стихи: Окуджава, Высоцкий и еще много-много. Это не самовыражение, не творчество в прямом смысле. Это – пахота. Они должны были сказать за всех, для всех. Через них шло.

И это было общенародным таким делом, эта самая «потребность вернуться на место происшествия, воспроизвести детали». В детстве меня возили в Хатынь, в Брестскую крепость, на Пискаревское кладбище, в Бабий Яр. Я была очень впечатлительным ребенком, это было тяжело. Моя семья не была

особо идеологизирована, никаких членов КПСС, и мое состояние мама всегда хорошо чувствовала. Но была потребность. И сопротивления не было тому, что погружаешься эту боль. Больно, но надо. Это было правильно.

Параллельно наверху вовсю разворачивалась трескотня: тра-та-та, Малая земля, и прочая бравурность. Стихотворение Винокурова про «Сережку с Малой Бронной» не стали публиковать, пока не заставили приписать в конце «победоутверждающее» четверостишие. Потому что в авторском варианте оно заканчивалось на «Который год подряд одни в пустой квартире их матери не спят». Строфа про «мир спасенный» вымучена позже и под нажимом. Сверху настойчиво утверждалось: травма была, и вся вышла. Мы победили, это главное. «То, что отцы не достроили, мы достроим», и делов-то. Звездочек всем навесим, цветами завалим, Родину-мать с небоскреба размером отгрохаем, и все, тема закрыта.

Но под этой трескотней продолжала идти работа. Там если по текстам идти, все аспекты травмы проговариваются: «Я знаю, никакой моей вины в том, что другие не пришли с войны...». Один из самых сильных текстов, просто до озноба.

И только один аспект травмы умалчивался долго, еще очень долго – та самая амбивалентность. Насилие своих. Предательство своих. Те моменты, когда Родина-мать вдруг сама становилась убийцей.

Лишь косвенно, сдержанно, и у людей уже послевоенного поколения: «Нам говорили: “Нужна высота!” и “Не жалеть патроны!”. Вон покатила вторая звезда – вам на погоны». Это Высоцкий.

Может быть, именно поэтому все получилось так долго. Полного очищения раны не происходило. Последнее табу слетело только в 1990-е. Вот тогда хлынуло все то, что было написано раньше и не увидело свет. Появилось новое. Впервые были наконец произнесены вслух слова «штрафбат», «заградотряд», «особый отдел», всплыли пирожные Жданова, Катынь, появился «Ледокол» Суворова, и многое еще произошло.

Завершилось ли очищение? Нет, все еще нет. Один из последних актов очищения – воспоминания о том, что творили уже советские солдаты на освобожденных территориях. Это самое трудное, потому что это уже не травма пострадавшего, а травма насильника. Или травма свидетеля. И снова всплывает отрицание и гнев, и люди агрессивно бросаются друг на друга, готовые глотки перегрызть из-за событий шестидесятипятилетней давности. Что само по себе – симптом. Еще болит, очень болит. Не только на дождь, как старые раны. Но рано или поздно с этой

частью травмы тоже придется разобраться, иначе никак.

И осталось про то, что же мы имеем теперь.

Война как травма – 4

7 мая 2010 г.

Последняя стадия ПТС – стадия восстановления. Признаки: «Переживание упадка сил, истощения, депрессии; ритуалы «завершения», «очищения»; появление чувства «выздоровления после тяжелой болезни»; осознание травмы как части опыта; переход от роли «жертвы» к роли «пережившего»; желание помочь другим пострадавшим или предотвратить повторение».

Собственно, началось уже в 1980-е. Первый признак начала стадии восстановления – «упадок сил, истощение». Если речь идет о человеке, в начале стадии восстановления он ловит себя на мысли, что «не надо об этом думать, хватит». Он хочет отвлечься, переключиться. Именно в 1980-е люди начали переключать канал, наткнувшись на фильм про войну. А 9 мая ездить на дачу или в лес на шашлыки.

Мой старший ребенок родился в 1990-м. Он не был ни в Хатыни, ни на Пискаревском. На Поклонной он катается на роликах с друзьями. В Брестской крепости был, но она интересовала его как крепость, а не как место трагедии. Фильмы о войне он практически не смотрел, книги не читал. Я не могу сказать, что это получилось осознанно, что мы как-то особо его берегли. Просто было какое-то внутренне чувство, что не надо. Не в смысле «не ценно», «неважно», а именно в охранительном смысле – «лучше бы не надо».

Это очень важный момент в проживании травмы. Однажды нужно просто сказать себе: хватит. Было и прошло. Больше – не надо.

Кстати, не уверена, что это было хорошо лично для моего сына. Мне сейчас не хватает взаимопонимания с ним про все про это. Но меня, в общем, никто не спрашивал. Есть вещи сильнее конкретных родительских представлений и чаяний. И он, и я – часть общего процесса выхода из травмы. За то, чтобы когда-нибудь кошмар этой травмы все же кончился, его сверстники 1940-х платили жизнью, сверстники 1960—70 – душевной работой и слезами над книгами, а его поколению, видно, придется платить некой эмоциональной притупленностью. Георгиевской ленточкой на модном рюкзаке. Что же, значит, такова цена. До нас не выбирали, и нам не выбирать.

(Интересно, что по отношению к другой, не менее масштабной национальной травме – травме репрессий – все совсем иначе. Он читал и «Крутой маршрут», и все, что нужно. Сам, с интересом. Просто сдвиг по времени, там другая фаза. На 1990-е только пик стадии осознания пришелся. А может, еще и не было пика, если после всего у нас та же организация у власти.)

Безудержное потребительство, которое выглядит малопривлекательно и многих наводит на мысль о сугубой бездуховности и деградации, на самом деле тоже может быть частью стадии восстановления. Часто человек в это время начинает больше есть, покупать обновки, баловать себя непривычными развлечениями. «Возрождение к жизни» идет через тело, через базовые потребности.

Наконец, приходит пора завершить процесс, «осознавать травму как часть опыта, чтобы не допустить повторения». Европа в этой стадии уже давно. Но и степень травмы несопоставима. Фильм «Большая прогулка» – 1966 год! Мыслимо ли было тогда у нас снять приключенческую комедию о войне? Настоящую комедию, не отдельные эпизоды, лишь подчеркивающие трагизм, а жанра чистого, как слеза? И до сих пор невозможно. Мы еще не там.

Ритуалы «завершения», «очищения». Что у нас с этим?

С завершением лучше. Именно им занимаются ребята, которые ищут и хоронят останки павших. Тяжелая работа тоже, но необходимая. Другие ищут места захоронений. Восстанавливают списки частей. Огромную работу проделала писатель Светлана Алексиевич, она собрала воспоминания женщин и детей войны. Но какого-то общего, сильного действия очень не хватает. Может быть, еще родится.

С очищением пока не очень. Амбивалентность не преодолена. В этом пункте и осознание-то застопорилось. И пока еще очень сильно состояние депрессии, истощения, апатии, паралича воли.

Будем ждать.

Сегодня трудно поверить, но когда-нибудь наши дети и внуки будут воспринимать эту войну, как мы воспринимаем войну 1812 года. С интересом, с уважением, с гордостью. Но без боли, совсем без боли. То есть они будут сочувствовать людям, героям книг и фильмов, будут плакать над ними, как мы плачем над Петей Ростовым. Но это будет уже общечеловеческое сочувствие, сами они не будут частью трагедии.

И тут очень важно вот еще что. Я опять процитирую пособие по терапии ПТС: «Стадии не линейны и могут меняться... Пережившие делают один шаг вперед и два назад, продвигаясь от одной стадии к другой... В то время, как многие пережившие

двигаются вперед и начинают контролировать свою жизнь, другие продолжают страдать. Они борются с мыслями о травме, которые возвращаются снова и снова. Постоянные усилия для того, чтобы избежать воспоминания о травме, в буквальном смысле контролируют их существование, истощают и делают невозможной продуктивную жизнь. Это состояние может тянуться годами и иногда не проходит без помощи извне».

Люди разные. Сил у всех по-разному. Степень отягощенности личной, семейной истории тоже разная. Для кого-то эта работа пока непосильна, потому что их предки тоже не справились. И люди прячутся, кто в ура-патриотизм и типа «гордость за доблесть наших воинов», кто в цинизм, кто в заумь. Упираются, не хотят идти дальше. Строят новые фантомы и защиты. Хотя вариантов-то нет. Есть чаши, которые нужно испить до капли, и это единственное противоядие. Если до дна боли не дойдешь, и всплыть не получится. Но все в свое время и по силам. Некоторым нужны годы. Некоторым – поколения. На работу по осознанию травмы человек должен идти сам, добровольно, и тогда, когда чувствует в себе для этого силы, за шиворот туда никого не втащишь.

Помочь – можно. Что это за помощь в нашем случае? Принятие прежде всего. Создание атмосферы поддержки, безопасности. Это основа основ терапии ПТС, без нее человек даже рассказывать, что произошло, не станет. Если он чувствует осуждение, агрессию, насилие, если его пытаются «учить жить», это еще больше запирает его в травме.

Поэтому я бы предложила: давайте не презирать тех, кто носит ленточки, и не осуждать тех, кто не носит. Не думать свысока ни о тех, кто жарит шашлыки на даче, ни о тех, кто ходит поздравлять ветеранов. Давайте не злиться сильно на власти, которые спекулируют на этой теме, ведь все их телодвижения – лишь небольшая рябь на океане боли, и наша злость рядом с масштабом травмы слишком мелочна тоже. Не надо про это все ругаться, нападать, клеймить. Ну, не та тема. Я понимаю, это перемещенная агрессия, она требует выхода. Но если вам лично было больше дано сил, и вы дальше прошли по пути осознания, не отвечайте на агрессию. Не провоцируйте на еще большее застревание. Ну, пусть они рисуют своего Сталина, если им так легче. Раз им это надо, значит, у них внутри все еще ад. А у вас уже нет, так проявите сострадание. Бережнее надо друг к другу. Важно понять, что здесь мы все – одно целое, будь мы хоть патриоты, хоть космополиты, хоть фанаты Суворова (писателя), хоть маршала Жукова. Это глубже политики, идеологии, пристрастий и мнений, это родство, общность судьбы.

Меня тут спрашивали, а что же я предлагаю делать в День Победы.

Я вот 9 мая поеду с детьми на кладбище. Моя мама родилась в ночь на 22 июня 1941 года. Далеко от войны, в Ташкенте. Но в конце концов именно травма войны ее так рано убила. Не буду объяснять, почему я так думаю, это личное, да и сложно. Для меня это так.

У кого родители живы – проведите день с ними. Даже если они не ветераны, они все задеты этой травмой так или иначе. И можно с ними поговорить, повспоминать, и тем самым тоже помочь исцелению. С детьми – тоже хорошо. Может быть, те, кто тогда погибал, были бы счастливы узнать, что их потомки просто гуляют с детьми в прекрасный весенний день и кормят их мороженым?

Уфф, все. Давно хотела все это проговорить.

Спасибо всем, кто дочитал до конца.

Война как травма – Завершение

10 мая 2010 г.

Спасибо большое всем, кто откликнулся на мои посты, искренне поделился чувствами и воспоминаниями.

Для меня это было очень важно, ваши слова про слезы, и про боль, и про то, что думаете об этом. Как-нибудь вместе мы все это постепенно разгребем.

Особенно было важно прочесть комментарии и личные сообщения о том, что кому-то стало понятнее поведение родителей, травмированных войной. А кто-то стал меньше сердиться на детей за то, что они «не грузятся». Или меньше себя винить, что чувствует так, как чувствует именно он. Наверное, это самое главное – каждый такой момент, когда травма начинает чуть меньше разъедать конкретную семью, конкретного человека, это и есть победа.

Были сегодня на кладбище. По дороге застряли в пробке – ВИПы изволили возвращаться домой с парада. Люди сидели в раскаленных на жаре автобусах и задавали вопрос – ради этого ли воевали деды? Риторический, как вы понимаете. Ни один ВИП от народного гнева не пострадал.

Вечером на салюте счастливые и очень многочисленные дети азартно гадали, какой будет следующий – красный или золотой? Если души тех самых дедов (прадедов?) могут их видеть, они, наверное, счастливы.

На кладбище тихо, зелено и соловьи. Много совсем заброшенных могил. Мы на какие-то из них положили цветочки. Как-то подумалось, что вот было бы хорошо в какой-нибудь день всем пойти и привести в порядок все-все могилы на всех-всех кладбищах. Забытые, заброшенные. По каждому-каждому имени пальцами провести. Может, именно этого нам не хватает?

Спасибо всем еще раз. Я такую родность чувствовала, когда читала большую часть откликов. Мы как будто поговорили вместе, и помолчали, и повздыхали. Как-то это правильно.

<i>Сын за отца отвечает</i>

14 мая 2010 г.

Меня много спрашивали: а каков механизм передачи травмы от поколения к поколению?

Как могут война или репрессии травмировать людей, рожденных сильно после событий?

И вот вчера прочитала стихи замечательного человека, учителя и вообще нашего друга Дмитрия Шноля. Как раз об этом.

То, что мы не домололи,
Мы оставим сыновьям:
Бессознательные роли,
Комья страхов по углам.

Нам оставил век оптовый
Соль сиротства на губах,
Запах ясельный, перловый,
Окрик нянечки в дверях.

В пору взрослых умолчаний
Разрастался в горле ком
От невыплаканных, ранних
Слез неведомо о ком.

Было жалко, в самом деле,—
Жизни на шестом году,—
Маму, Сашку, тетю Нелю,
Воспитательниц в саду.

Смерть казенная ходила
Невидимкой здесь и там —

За прилавком магазина
И на празднике для мам.

Этот воздух мы впитали
С суррогатным молоком,
По полдня в футбол гоняли,
Чтоб не спрашивать о том,—

Чтоб не спрашивать о диком,
Горьком, не пережитом,
Повсеместно здесь разлитом
И не видимом при том.
И от этого наследства
Нам не деться никуда,
И пошаливает сердце
От поденного труда.

Но, быть может, нашим внукам
Вдруг удастся превозмочь
Еле слышным чуждым звуком
Подступающую ночь.

Вот такой вот примерно механизм. Дети за отцов отвечают. Не по закону, а по жизни, хотим мы этого или нет. Все непроговоренное, не названное своими именами, все, из чего не сделаны выводы, остается потомкам. «И от этого наследства нам не деться никуда...».

Кстати, я убеждена, что это единственная причина, по которой надо судить преступников. Наказанием никого не исправишь, местью ничьей боли не уймешь. Но названное преступлением, взвешенное и оцененное, оплаченное и искупленное, остается в прошлом, а неназванное – продолжает висеть на шее у детей. Причем не обязательно у прямых потомков преступника.

А теперь прозой

14 мая 2010 г.

Видимо, не отцепится это все от меня, пока не напишется. Сдаю и пишу.

Как же она все-таки передается, травма?

Понятно, что можно всегда все объяснить «поток», «переплетениями», «родовой памятью» и т. д., и, вполне возможно, что совсем без мистики и не обойдешься, но если попробовать? Взять только самый понятный, чисто семейный аспект, родительско-детские отношения, без политики и идеологии. О них потом как-нибудь.

Живет себе семья. Молодая совсем, только поженились, ждут ребеночка. Или только родили. А может, даже двоих успели. Любят, счастливы, полны надежд. И тут случается катастрофа. Маховики истории сдвинулись с места и пошли перемалывать народ. Чаще всего первыми в жернова попадают мужчины. Революции, войны, репрессии – первый удар по ним.

И вот уже молодая мать осталась одна. Ее удел – постоянная тревога, непосильный труд (нужно и много работать, и ребенка растить), никаких особых радостей. Похоронка, «десять лет без права переписки», или просто долгое отсутствие без вестей, такое, что надежда тает. Может быть, это и не про мужа, а про брата, отца, других близких.

Каково состояние матери? Она вынуждена держать себя в руках, она не может толком отдаться горю. На ней ребенок (дети), и еще много всего. Изнутри раздирает боль, а выразить ее невозможно, плакать нельзя, «раскисать» нельзя. И она каменеет. Застывает в стоическом напряжении, отключает чувства, живет, стиснув зубы и собрав волю в кулак, делает все на автомате. Или, того хуже, погружается в скрытую депрессию, ходит, делает, что положено, хотя сама хочет только одного – лечь и умереть. Ее лицо представляет собой застывшую маску, ее руки тяжелы и не гнутся. Ей физически больно отвечать на улыбку ребенка, она минимизирует общение с ним, не отвечает на его лепет. Ребенок проснулся ночью, окликнул ее – а она глухо воет в подушку. Иногда прорывается гнев. Он подполз или подошел, теребит ее, хочет внимания и ласки, она, когда может, отвечает через силу, но иногда вдруг как зарычит: «Да, отстань же, наконец!», как оттолкнет, что он аж отлетит. Нет, она не на него злится – на судьбу, на свою поломанную жизнь, на того, кто ушел, оставил и больше не поможет.

Только вот ребенок не знает всей подноготной происходящего. Ему не говорят, что случилось (особенно если он мал). Или он даже знает, но понять не может. Единственное объяснение, которое ему в принципе может прийти в голову: мама меня не любит, я ей мешаю, лучше бы меня не было. Его личность не может полноценно формироваться без постоянного эмоционального контакта с матерью, без обмена с ней взглядами, улыбками, звуками, ласками, без того, чтобы читать ее лицо, распознавать оттенки чувств в голосе. Это необходимо, заложено природой, это главная задача младенчества. А что делать, если у матери на лице депрессивная маска? Если ее голос однообразно тусклый от горя, или напряжено звенящий от тревоги?

Пока мать рвет жилы, чтобы ребенок элементарно выжил, не умер от голода или болезни, он растет себе, уже травмированный. Не уверенный, что его любят, не уверенный, что он нужен, с плохо развитой эмпатией. Даже интеллект нарушается в условиях депривации. Помните картину «Опять двойка»? Она написана в 1951. Главному герою лет 11 на вид. Ребенок войны, травмированный больше, чем старшая сестра, захватившая первые годы нормальной семейной жизни, и чем младший брат, любимое дитя послевоенной радости – отец живой вернулся. На стене – трофейные часы. А мальчику трудно учиться.

Конечно, у всех все по-разному. Запас душевных сил у разных женщин разный. Острота горя разная. Характер разный. Хорошо, если у матери есть источники поддержки – семья, друзья, старшие дети. А если нет? Если семья оказалась в изоляции как «враги народа», или в эвакуации в незнакомом месте? Тут или умирай, или каменей, а как еще выжить?

Идут годы, очень трудные годы, и женщина научается жить без мужа. «Я и лошадь, я и бык, я и баба, и мужик». Конь в юбке. Баба с яйцами. Назовите как хотите, суть одна. Это человек, который нес-нес непосильную ношу, да и привык. Адаптировался. И по-другому уже просто не умеет. Многие помнят, наверное, бабушек, которые просто физически не могли сидеть без дела. Уже старенькие совсем, все хлопотали, все таскали сумки, все пытались рубить дрова. Это стало способом справляться с жизнью. Кстати, многие из них стали настолько стальными – да, вот такая вот звукопись – что прожили очень долго, их и болезни не брали, и старость. И сейчас еще живы, дай им Бог здоровья.

В самом крайнем своем выражении, при самом ужасном стечении событий такая женщина превращалась в монстра, способного убить своей заботой. И продолжала быть железной, даже если уже не было такой необходимости, даже если потом снова жила с мужем, и детям ничего не угрожало.словно зарок

выполняла.

Ярчайший образ описан в книге Павла Санаева «Похороните меня за плинтусом».

А вот что пишет о «Страшной бабе» Екатерина Михайлова («Я у себя одна» книжка называется): «Тусклые волосы, сжатый в ниточку рот..., чугунный шаг... Скупая, подозрительная, беспощадная, бесчувственная. Она всегда готова попрекнуть куском или отвесить оплеуху: «Не напасешься на вас, паразитов. Ешь, давай!»... Ни капли молока не выжать из ее сосцов, вся она сухая и жесткая». Там еще много очень точного сказано, и если кто не читал эти две книги, то надо обязательно.

Самое страшное в этой патологически измененной женщине – не грубость и не властность. Самое страшное – любовь. Когда, читая Санаева, понимаешь, что это повесть о любви, о такой вот изуродованной любви, вот тогда мороз-то продирает. У меня была подружка в детстве, поздний ребенок матери, подростком пережившей блокаду. Она рассказывала, как ее кормили, зажав голову между коленями и вливая в рот бульон. Потому что ребенок больше не хотел и не мог, а мать и бабушка считали, что надо. Их так пережитый голод изнутри грыз, что плач живой девочки, родной, любимой, голос этого голода перекрыть не мог.

А другую мою подружку мама брала с собой, когда делала подпольные аборты. И она показывала маленькой дочке полный крови унитаз со словами: вот, смотри, мужики-то что с нами делают. Вот она, женская наша доля. Хотела ли она травмировать дочь? Нет, только уберечь. Это была любовь.

А самое ужасное – что черты «Страшной бабы» носит вся наша система защиты детей до сих пор. Медицина, школа, органы опеки. Главное – чтобы ребенок был «в порядке». Чтобы тело было в безопасности. Душа, чувства, привязанности – не до этого. Спасти любой ценой. Накормить и вылечить. Очень-очень медленно это выветривается, а нам-то в детстве по полной досталось, няньку, которая половой тряпкой по лицу била, кто не спал днем, очень хорошо помню.

Но оставим в стороне крайние случаи. Просто женщина, просто мама. Просто горе. Просто ребенок, выросший с подозрением, что не нужен и не любим, хотя это неправда, ради него только и выжила мама, и вытерпела все. И он растет, стараясь заслужить любовь, раз она ему не положена даром. Помогает. Ничего не требует. Сам собой занят. За младшими смотрит. Добивается успехов. Очень старается быть полезным. Только полезных любят. Только удобных и правильных. Тех, кто и уроки сам сделает, и пол в доме помоем, и младших уложит, и ужин к приходу матери приготовит. Слышали, наверное, не раз

такого рода рассказы про послевоенное детство? «Нам в голову прийти не могло так с матерью разговаривать!» – это о современной молодежи. Еще бы. Еще бы. Во-первых, у железной женщины и рука тяжелая. А во-вторых, кто ж будет рисковать крохами тепла и близости? Это роскошь, знаете ли, родителям грубить.

Травма пошла на следующий виток.

А теперь прозой – 2 (Травма: следующий виток)

15 мая 2010 г.

Настанет время, и сам этот ребенок создаст семью, родит детей. Годах примерно так в 1960-х. Кто-то так был «прокатан» железной матерью, что оказывался способен лишь воспроизводить ее стиль поведения. Надо еще не забывать, что матерей-то многие дети не очень и видели, в два месяца – ясли, потом пятидневка, все лето – с садом на даче и т. д. То есть «прокатывала» не только семья, но и учреждения, в которых «страшных баб» всегда хватало.

Но рассмотрим вариант более благополучный. Ребенок был травмирован горем матери, но совсем душу ему не отморозило. А тут вообще мир и оттепель, и в космос полетели, и так хочется жить, и любить, и быть любимым. Впервые взяв на руки собственного, маленького и теплого ребенка, молодая мама вдруг понимает: вот он. Вот тот, кто наконец-то полюбит ее по-настоящему, кому она действительно нужна. С этого момента ее жизнь обретает новый смысл. Она живет ради детей. Или ради одного ребенка, которого она любит так страстно, что и помыслить не может разделить эту любовь еще на кого-то. Она ссорится с собственной матерью, которая пытается отстегать внука крапивой – так нельзя. Она обнимает и целует свое дитя, и спит с ним вместе, и не надышится на него, и только сейчас, задним числом осознает, как много она сама была лишена в детстве. Она поглощена этим новым чувством полностью, все ее надежды, чаяния – все в этом ребенке. Она «живет его жизнью», его чувствами, интересами, тревогами. У них нет секретов друг о друга. С ним ей лучше, чем с кем бы то ни было другим.

И только одно плохо – он растет. Стремительно растет, и что же потом? Неужто снова одиночество? Неужто снова – пустая постель? Психологи тут бы много чего сказали про перемещенный эротизм и все такое, но мне сдается, что нет тут никакого эротизма особого. Лишь ребенок, который натерпелся

одиноких ночей, и больше не хочет. Настолько сильно не хочет, что у него разум отшибает. «Я не могу уснуть, пока ты не придешь». Мне кажется, у нас в 1970—80-е эту фразу чаще говорили мамы детям, а не наоборот.

Что происходит с ребенком? Он не может не откликнуться на страстный запрос его матери о любви. Это выше его сил. Он счастливо сливается с ней, он заботится, он боится за ее здоровье. Самое ужасное – когда мама плачет, или когда у нее болит сердце. Только не это. «Хорошо, я останусь, мама. Конечно, мама, мне совсем не хочется на эти танцы». Но на самом деле хочется, ведь там любовь, самостоятельная жизнь, свобода, и обычно ребенок все-таки рвет связь, рвет больно, жестко, с кровью, потому что добровольно никто не отпустит. И уходит, унося с собой вину, а матери оставляя обиду. Ведь она « всю жизнь отдала, ночей не спала ». Она вложила всю себя, без остатка, а теперь предъявляет вексель, а ребенок не желает платить. Где справедливость? Тут и наследство «железной» женщины приговора, в ход идут скандалы, угрозы, давление. Как ни странно, это не худший вариант. Насилие порождает отпор и позволяет-таки отделиться, хоть и понеся потери.

Некоторые ведут свою роль так искусно, что ребенок просто не в силах уйти. Зависимость, вина, страх за здоровье матери привязывают тысячами прочнейших нитей, про это есть пьеса Птушкиной «Пока она умирала», по которой гораздо более легкий фильм снят, там Васильева маму играет, а Янковский – претендента на дочь. Каждый Новый год показывают, наверное, видели все. А лучший – с точки зрения матери – вариант, если дочь все же сходит ненадолго замуж и останется с ребенком. И тогда сладкое единение можно перенести на внука и длить дальше, и, если повезет, хватит до самой смерти.

И часто хватает, поскольку это поколение женщин гораздо менее здорово, они часто умирают намного раньше, чем их матери, прошедшие войну. Потому что стальной брони нет, а удары обиды разрушают сердце, ослабляют защиту от самых страшных болезней. Часто свои неполадки со здоровьем начинают использовать как неосознанную манипуляцию, а потом трудно не заиграться, и вдруг все оказывается по-настоящему плохо. При этом сами они выросли без материнской внимательной нежной заботы, а значит, заботиться о себе не привыкли и не умеют – не лечатся, не умеют себя баловать, да, по большому счету, не считают себя такой уж большой ценностью, особенно если заболели и стали «бесполезны».

Но что-то мы все о женщинах, а где же мужчины? Где отцы? От кого-то же надо было детей родить?

С этим сложно. Девочка и мальчик, выросшие без отцов, создают семью. Они оба голодны на любовь и заботу. Она оба надеются получить их от партнера. Но единственная модель семьи, известная им – самодостаточная «баба с яйцами», которой, по большому счету, мужик не нужен. То есть классно, если есть, она его любит и все такое. Но по-настоящему он ни к чему, не пришей кобыле хвост, розочка на торте. «Посиди, дорогой, в сторонке, футбол посмотри, а то мешаешь полы мыть. Не играй с ребенком, ты его разгуливаешь, потом не уснет. Не трогай, ты все испортишь. Отойди, я сама», и все в таком духе. А мальчишки-то тоже мамами выращены. Слушаться привыкли. Ну, и чисто физически в том же доме нередко присутствовала мать жены или мужа, а то и обе. А куда деваться? Поди тут побудь мужчиной...

Некоторые мужчины находили выход, становясь «второй мамой». А то и единственной, потому что сама мама-то, как мы помним, «с яйцами», и железом погромычивает. В самом хорошем варианте получалось что-то вроде папы дяди Федора: мягкий, заботливый, чуткий, все разрешающий. В промежуточном – трудоголик, который просто сбегал на работу от всего этого. В плохом – алкоголик. Потому что мужчине, который даром не нужен своей женщине, который все время слышит только «отойди, не мешай», а через запятую «что ты за отец, ты совершенно не занимаешься детьми» (читай «не занимаешься так, как Я считаю нужным»), остается или поменять женщину – а на кого, если все вокруг примерно такие? – или уйти в забытье.

С другой стороны, сам мужчина не имеет никакой внятной модели ответственного отцовства. На их глазах или в рассказах старших множество отцов просто встали однажды утром и ушли – и больше не вернулись. Вот так вот просто. И ничего, нормально. Поэтому многие мужчины считали совершенно естественным, что, уходя из семьи, они переставали иметь к ней отношение, не общались с детьми, не помогали. Искренне считали, что ничего не должны «этой истеричке», которая осталась с их ребенком, и на каком-то глубинном уровне, может, были и правы, потому что нередко женщины просто юзали их как осеменителей, и дети были им нужнее, чем мужики. Так что еще вопрос, кто кому должен. Обида, которую чувствовал мужчина, позволяла легко договориться с совестью и забить, а если этого не хватало, так вот ведь водка всюду продается.

Ох, эти разводы семидесятых – болезненные, жестокие, с запретом видеться с детьми, с разрывом всех отношений, с оскорблениями и обвинениями. Мучительное разочарование двух недолюбленных детей, которые так хотели любви и счастья, столько надежд возлагали друг на друга, а он/она – обманул/а,

все не так, сволочь, сука, мразь... Они не умели налаживать в семье круговорот любви, каждый был голоден и хотел получать, или хотел только отдавать, но за это хотел власти. Они страшно боялись одиночества, но именно к нему шли, просто потому, что, кроме одиночества, никогда ничего не видели.

В результате – обиды, душевные раны, разрушенное здоровье, женщины еще больше закливаются на детях, мужчины еще больше пьют.

У мужчин на все это накладывалась идентификация с погибшими и исчезнувшими отцами. Потому что мальчику надо, жизненно необходимо походить на отца. А что делать, если единственное, что о нем известно – что он погиб? Был очень смелым, дрался с врагами – и погиб? Или того хуже – известно только, что умер? И о нем в доме не говорят, потому что он пропал без вести, или был репрессирован? Сгинул – вот и вся информация? Что остается молодому парню, кроме суицидального поведения? Выпивка, драки, сигареты по три пачки в день, гонки на мотоциклах, работа до инфаркта. Мой отец был в молодости монтажник-высотник. Любимая фишка – работать на высоте без страховки. Ну, и все остальное тоже – выпивка, курение, язва. Развод, конечно, и не один. В 50 лет инфаркт и смерть. Его отец пропал без вести, ушел на фронт еще до рождения сына. Неизвестно ничего, кроме имени, ни одной фотографии, ничего.

* * *

Вот в таком примерно антураже растут детки, третье уже поколение.

В моем классе больше, чем у половины детей родители были в разводе, а из тех, кто жил вместе, может быть, только в двух или трех семьях было что-то похожее на супружеское счастье. Помню, как моя институтская подруга рассказывала, что ее родители в обнимку смотрят телевизор и целуются при этом. Ей было 18, родили ее рано, то есть родителям было 36–37. Мы все были изумлены. Ненормальные, что ли? Так не бывает!

Естественно, соответствующий набор слоганов: «Все мужики – сволочи», «Все бабы – суки», «Хорошее дело браком не назовут». А что, жизнь подтверждала. Куда ни глянь...

Но случилось и хорошее. В конце 1960-х матери получили возможность сидеть с детьми до года. Они больше не считались при этом тунеядками. Вот кому бы памятник поставить, так автору этого нововведения. Не знаю только, кто он. Конечно, в

год все равно приходилось отдавать, но это уже несопоставимо. А так-то дети счастливо миновали самую страшную угрозу депривации, самую калечащую – до года. Ну, и обычно народ крутился как-то потом – то мама отпуск возьмет, то бабушки по очереди, еще выигрывали чуток. Такая вот игра постоянная была – семья против «подступающей ночи», против «страшной бабы», против железной пятки Родины-матери. Такие кошки-мышки.

А еще случилось хорошее – отдельное жилье стало появляться. Хрущобы пресловутые. Тоже поставим когда-нибудь памятник этим хлипким бетонным стеночкам, которые огромную роль выполнили – прикрыли наконец семью от всевидящего ока государства и общества. Хотя и слышно было все сквозь них, а все ж какая-никакая – автономия. Граница. Защита. Берлога. Шанс на восстановление.

Третье поколение начинает свою взрослую жизнь со своим набором травм, но и со своим довольно большим ресурсом. Нас любили. Пусть не так, как велят психологи, но искренне и много. У нас были отцы. Пусть пьющие и/или «подкаблучники» и/или «бросившие мать козлы», но у них было имя, лицо и они нас тоже по-своему любили. Наши родители не были жестоки. У нас был дом, родные стены.

Не у всех все было одинаково, конечно, были семьи более и менее счастливые и благополучные.

Но в общем и целом.

Короче, с нас причитается. Но про это в следующий раз.

А теперь прозой – методологическое отступление

16 мая 2010 г.

Прежде чем перейти к следующему поколению, несколько моментов важно проговорить.

Я уже привыкла, что сколько раз ни пиши в конце или начале текста что-нибудь вроде «конечно, все люди и семьи разные и бывает все по-разному», всегда нн-ое число комментов будет следующего содержания: «Я не согласен, все люди и семьи разные, и бывает все по-разному». Это нормально. Меня больше беспокоит, что кто-то с тревогой спрашивает: а у нас все не так, мы что, не со всеми вместе?

Еще раз: я просто пытаюсь показать механизм передачи травмы. В ответ на вопрос: «Как может быть, что травмированы люди, родившиеся через полвека после?». Вот так вот может быть. Это ни в коем разе не означает, что именно так, и только так, и

что у всех так. Я показываю механизм передачи на одном, довольно частом примере «сюжетной линии». Бывает и по-другому, конечно.

Во-первых, как многие отметили, есть поколения «между», то есть со сдвигом на 10–15 лет. И там свои особенности. Некоторые комментаторы уже отмечали, что те, кто во время войны был подростком и слишком быстро стал взрослым, потом с трудом становились зрелыми людьми. Пожалуй, да, это поколение надолго сохранило «подростковость», авантюренность. Они и сейчас часто выглядят совсем не на свои 75. Кстати, оно оказалось очень талантливым, именно оно обеспечило расцвет кино, театра, литературы в 1970-е. Именно ему мы обязаны какой-никакой, а фрондой совку. В подростковости есть свои плюсы. Но, возможно, именно потому фронда осталась фрондой, не став ничем более серьезным. Матерости не было. Со зрелым родительством было тоже не очень, с детьми стремились «дружить». Но это не самый тяжелый вариант, согласитесь. Хотя и травмы все те же их не миновали, и общая экзистенциальная тоска брежневского времени многих загнала в могилу раньше времени. Кстати, свою «вечную молодость» они, похоже, передали детям. У меня много друзей в возрасте около 50, и они выглядят совершенно не старше, а то и моложе нас, 40-летних, о которых речь впереди. Многое из того, что появилось в нашей стране впервые за последние годы, появилось именно благодаря тем, кому сейчас 50 с хвостиком. И многое из того, что появилось, долго не прожило, поскольку не хватало основательности.

Во-вторых, как многими было справедливо замечено, травмы в 20 веке шли волнами, и одна накрывала другую, не давая не то что зализать раны – даже осознать, что произошло. Это все больше истощало, снижало способность к сопротивлению. Именно беспомощные отцы 1940-х годов рождения оказались неспособны защитить детей от Афгана. Ведь эта война не воспринималась ни священной, ни вообще сколько-нибудь оправданной, сами мальчишки на нее отнюдь не рвались, да и на сильные репрессии власть была тогда не готова. Могли бы как-то протестовать, и все бы закончилось раньше, но нет, ничего не было. Обреченно отпускали. И поди тут разбери, от чего больше травма – от самой войны, или от этой пассивной беспомощности родителей. Точно так же возможны сдвиги в волнах травм внутри семьи: например, дочь «страшной бабы» может тоже вырасти «железной», но чуть мягче, и тогда будет другой сценарий.

В-третьих, на массовые, народные травмы всегда накладывается история собственно семьи, в которой есть свои трагедии и драмы, болезни, предательства, радости и т. д. И все

это может оказаться существенней исторических событий. Помню, как однажды в компании вспоминали события путча 1991 года, и один мужчина говорит: а у меня накануне сын с дерева упал и повредил позвоночник, боялись, что парализует, так что я не помню никакого путча. А моя бабушка рассказывала, что 22 июня 1941 года была ужасно счастлива, потому что ночью у нее дочка родилась, и вроде понимала, что война и надо что-то другое испытывать, а счастье перекрывало все.

Наконец, вот что еще важно. То, как на ребенка влияет опыт родителей, зависит от двух противоположных стремлений. С одной стороны, ребенок стремится быть похожим на родителя, воспроизводить его жизненную модель как самую известную и досконально изученную. С другой – люди в семье сцеплены друг с другом как детальки в паззле – где у одного выемка, там у другого выступ. Ребенок всегда взаимодополнителен к родителям: они беспомощны – он супермен, они авторитарны – он пришиблен, они его боятся – он наглеет, они гиперопекают – он регрессирует. Если детей несколько, все попроще, они могут «распределить обязанности»: один может быть похож на родителя, а другой – дополнителен. Так часто и бывает. А если один? Какие причудливые формы это все приобретет? Плюс включается критичность к родительскому опыту и сознательные усилия «жить иначе». Так что как именно проявится травма в конкретном случае конкретного человека – никто заранее не скажет. Есть лишь сюжетные линии, потоки, в которых каждый барахтается, как может.

Естественно, чем дальше по времени от какой-то генерализованной травмы типа мировой войны, тем больше факторов и сложнее их взаимодействие, в результате получается все более сложная интерференционная картина. И, кстати, в результате мы все сейчас живы и обсуждаем все это, а то бы целые поколения прямо ложились и помирали, травмированные. Но поскольку поток жизни идет, всегда все не так однозначно-обремененно.

Вот это все хотелось уточнить прежде, чем продолжить.

А теперь прозой – 3

17 мая 2010 г.

Итак, третье поколение. Не буду здесь жестко привязываться к годам рождения, потому что кого-то родили в 18, кого-то – в 34, чем дальше, тем больше размываются отчетливые «берега»

потока. Здесь важна передача сценария, а возраст может быть от 50 до 30. Короче, внуки военного поколения, дети детей войны.

«С нас причитается» – это, в общем, девиз третьего поколения. Поколения детей, вынужденно ставших родителями собственных родителей. В психологии такое называется «парентификация».

А что было делать? Недолюбленные дети войны распространяли вокруг столь мощные флюиды беспомощности, что не откликнуться было невозможно. Поэтому дети третьего поколения были не по годам самостоятельны и чувствовали постоянную ответственность за родителей. Детство с ключом на шее, с первого класса самостоятельно в школу – в музыкалку – в магазин, если через пустырь или гаражи – тоже ничего. Уроки сами, суп разогреть сами, мы умеем. Главное, чтобы мама не расстраивалась. Очень показательны воспоминания о детстве: «Я ничего у родителей не просила, всегда понимала, что денег мало, старалась как-то зашить, обойтись», «Я один раз очень сильно ударился головой в школе, было плохо, тошнило, но маме не сказал – боялся расстроить. Видимо, было сотрясение, и последствия есть до сих пор», «Ко мне сосед приставал, то лапаты пытался, то свое хозяйство показывал. Но я маме не говорила, боялась, что ей плохо с сердцем станет», «Я очень по отцу тосковал, даже плакал потихоньку. Но маме говорил, что мне хорошо и он мне совсем не нужен. Она очень злилась на него после развода». У Дины Рубиной есть такой рассказ пронзительный «Терновник». Классика: разведенная мама, шестилетний сын, самоотверженно изображающий равнодушие к отцу, которого страстно любит. Вдвоем с мамой, свернувшись калачиком, в своей маленькой берлоге против чужого зимнего мира. И это все вполне благополучные семьи, бывало и так, что дети искали пьяных отцов по канавам и на себе тащили домой, а мамочку из петли вытаскивали собственными руками или таблетки от нее прятали. Лет эдак в восемь.

А еще разводы, как мы помним, или жизнь в стиле «кошка с собакой» (ради детей, конечно). И дети-посредники, миротворцы, которые душу готовы продать, чтобы помирить родителей, чтобы склеить снова семейное хрупкое благополучие. Не жаловаться, не обострять, не отсвечивать, а то папа рассердится, мама заплачет и скажет, что «лучше бы ей сдохнуть, чем так жить», а это очень страшно. Научиться предвидеть, сглаживать углы, разряжать обстановку. Быть всегда бдительным, присматривать за семьей. Ибо больше некому.

Символом поколения можно считать мальчика дядю Федора из смешного мультика. Смешной-то смешной, да не очень.

Мальчик-то из всей семьи самый взрослый. А он еще и в школу не ходит, значит, семи нет. Уехал в деревню, живет там сам, но о родителях волнуется. Они только в обморок падают, капли сердечные пьют и руками беспомощно разводят.

Или помните мальчика Рому из фильма «Вам и не снилось»? Ему 16, и он единственный взрослый из всех героев фильма. Его родители – типичные «дети войны», родители девочки – «вечные подростки», учительница, бабушка... Этих утешить, тут поддержать, тех помирить, там помочь, здесь слезы вытереть. И все это на фоне причитаний взрослых, мол, рано еще для любви. Ага, а их всех нянчить – в самый раз.

Так все детство. А когда настала пора вырасти и оставить дом – муки невозможной сепарации, и вина, вина, вина, пополам со злостью, и выбор очень веселый: отделись – и это убьет мамочку, или останься и умри как личность сам.

Впрочем, если ты останешься, тебе все время будут говорить, что нужно устраивать собственную жизнь, и что ты все делаешь не так, нехорошо и неправильно, иначе уже давно была бы своя семья. При появлении любого кандидата он, естественно, оказывался бы никуда не годным, и против него начиналась бы долгая подспудная война до победного конца. Про это все столько есть фильмов и книг, что даже перечислять не буду.

Интересно, что при всем при этом и сами они, и их родители воспринимали свое детство как вполне хорошее. В самом деле: дети любимые, родители живы, жизнь вполне благополучная. Впервые за долгие годы – счастливое детство без голода, эпидемий, войны и всего такого.

Ну, почти счастливое. Потому что еще были детский сад, часто с пятидневкой, и школа, и лагеря, и прочие прелести советского детства, которые были кому в масть, а кому и не очень. И насилия там было немало, и унижений, а родители-то беспомощные, защитить не могли. Или даже на самом деле могли бы, но дети к ним не обращались, берегли. Я вот ни разу маме не рассказывала, что детском саду тряпкой по морде бьют и перловку через рвотные спазмы в рот пихают. Хотя теперь, задним числом, понимаю, что она бы, пожалуй, этот сад разнесла бы по камешку. Но тогда мне казалось – нельзя.

Это вечная проблема – ребенок не критичен, он не может здраво оценить реальное положение дел. Он все всегда принимает на свой счет и сильно преувеличивает. И всегда готов принести себя в жертву. Так же, как дети войны приняли обычные усталость и горе за нелюбовь, так же их дети принимали некоторую невзрослость пап и мам за полную уязвимость и беспомощность. Хотя не было этого в большинстве случаев, и

вполне могли родители за детей постоять, и не рассыпались бы, не умерли от сердечного приступа. И соседа бы укоротили, и няньку, и купили бы что надо, и разрешили с папой видаться. Но – дети боялись. Преувеличивали, перестраховывались. Иногда потом, когда все раскрывалось, родители в ужасе спрашивали: «Ну, почему ты мне сказал? Да я бы, конечно...». Нет ответа. Потому что – нельзя. Так чувствовалось, и все.

Третье поколение стало поколением тревоги, вины, гиперответственности. У всего этого были свои плюсы, именно эти люди сейчас успешны в самых разных областях, именно они умеют договариваться и учитывать разные точки зрения. Предвидеть, быть бдительными, принимать решения самостоятельно, не ждать помощи извне – сильные стороны. Беречь, заботиться, опекать.

Но есть у гиперответственности, как у всякого «гипер», и обратная сторона. Если внутреннему ребенку военных детей не хватало любви и безопасности, то внутреннему ребенку «поколения дяди Федора» не хватало детскости, беззаботности. А внутренний ребенок – он свое возьмет по-любому, он такой. Ну и берет. Именно у людей этого поколения часто наблюдается такая штука, как «агрессивно-пассивное поведение». Это значит, что в ситуации «надо, но не хочется» человек не протестует открыто: «Не хочу и не буду!», но и не смиряется – «Ну, надо, так надо». Он всякими разными, порой весьма изобретательными способами, устраивает саботаж. Забывает, откладывает на потом, не успевает, обещает и не делает, опаздывает везде и всюду и т. п. Ох, начальники от этого воют прямо: хороший специалист, профи, умница, талант, но такой неорганизованный...

Часто люди этого поколения отмечают у себя чувство, что они старше окружающих, даже пожилых людей. И при этом сами не ощущают себя «вполне взрослыми», нет «чувства зрелости». Молодость как-то прыжком переходит в пожилую возраст. И обротно, иногда по несколько раз в день.

Еще заметно сказываются последствия «слияния» с родителями, всего этого «жить жизнью ребенка». Многие вспоминают, что в детстве родители и/или бабушки не терпели закрытых дверей: «Ты что, что-то скрываешь?». А врезать в свою дверь защелку было равносильно «плевку в лицо матери». Ну, о том, что нормально проверить карманы, стол, портфель и прочитать личный дневник... Редко какие родители считали это неприемлемым. Про сад и школу вообще молчу, одни туалеты чего стоили, какие границы... В результате дети, выросшие в ситуации постоянного нарушения границ, потом блюдут эти границы сверххревно. Редко ходят в гости и редко приглашают

к себе. Напрягает ночевка в гостях (хотя раньше это было обычным делом). Не знают соседей и не хотят знать – а вдруг те начнут в друзья набиваться? Мучительно переносят любое вынужденное соседство (например, в купе, в номере гостиницы), потому что не знают, не умеют ставить границы легко и естественно, получая при этом удовольствие от общения, и ставят «противотанковые ежи» на дальних подступах.

А что с семьей? Большинство и сейчас еще в сложных отношениях со своими родителями (или их памятью), у многих не получилось с прочным браком, или получилось не с первой попытки, а только после отделения (внутреннего) от родителей.

Конечно, полученные и усвоенные в детстве установки про то, что мужики только и ждут, чтобы «поматросить и бросить», а бабы только и стремятся, что «подмять под себя», счастьем в личной жизни не способствуют. Но появилась способность «выяснять отношения», слышать друг друга, договариваться. Разводы стали чаще, поскольку перестали восприниматься как катастрофа и крушение всей жизни, и они обычно менее кровавые, все чаще разведенные супруги могут потом вполне конструктивно общаться и вместе заниматься детьми.

Часто первый ребенок появлялся в быстротечном «осеменительском» браке, воспроизводилась родительская модель. Потом ребенок отдавался полностью или частично бабушке в виде «откупа», а мама получала шанс так отделиться и начать жить своей жизнью. Кроме идеи утешить бабушку здесь еще играет роль многократно слышанное в детстве «я на тебя жизнь положила». То есть люди выросли с установкой, что растить ребенка, даже одного – это нечто нереально сложное и героическое. Часто приходится слышать воспоминания, как тяжело было с первенцем. Даже у тех, кто родил уже в эпоху памперсов, питания в баночках, стиральных машин-автоматов и прочих прибабасов. Не говоря уже о центральном отоплении, горячей воде и прочих благах цивилизации. «Я первое лето провела с ребенком на даче, муж приезжал только на выходные. Как же было тяжело! Я просто плакала от усталости». Дача с удобствами, ни кур, ни коровы, ни огорода, ребенок вполне здоровый, муж на машине привозит продукты и памперсы. Но как же тяжело!

А как же не тяжело, если известны заранее условия задачи: «Жизнь положить, ночей не спать, здоровье угробить». Тут уж хочешь – не хочешь... Эта установка заставляет бояться и избегать ребенка. В результате мама, даже сидя с ребенком, почти с ним не общается, и он откровенно тоскует. Нанимаются няни, они меняются, когда ребенок начинает к ним привязываться –

ревность! – и вот уже мы получаем новый круг – депривированного, недолюбленного ребенка, чем-то очень похожего на того, военного, только войны никакой нет. Призывной забег. Посмотрите на детей в каком-нибудь дорогом пансионе полного содержания. Тики, энурез, вспышки агрессии, истерики, манипуляции. Детдом, только с английским и теннисом. А у кого нет денег на пансион, тех на детской площадке в спальном районе можно увидеть. «Куда полез, идиот, сейчас получишь, я потом стирать должна, да?». Ну, и так далее, «сил моих на тебя нет, глаза б мои тебя не видели», с неподдельной ненавистью в голосе. Почему ненависть? Так он же пришел, чтобы забрать жизнь, здоровье, молодость, так сама мама сказала!

Другой вариант сценария разворачивается, когда берет верх еще одна коварная установка гиперответственных: все должно быть правильно! Наилучшим образом! И это – отдельная песня. Рано освоившие родительскую роль «дяди Федоры» часто бывают помешаны на сознательном родительстве. Господи, если они осилили в свое время родительскую роль по отношению к собственным папе с мамой, неужели своих детей не смогут воспитать по высшему разряду? Сбалансированное питание, гимнастика для грудничков, развивающие занятия с года, английский с трех. Литература для родителей, читаем, думаем, пробуем. Быть последовательными, находить общий язык, не выходить из себя, все объяснять, *заниматься ребенком*.

И вечная тревога, привычная с детства – а вдруг что не так? А вдруг чего-то не учили? а если можно было лучше? И почему мне не хватает терпения? И что ж я за мать (отец)?

В общем, если поколение детей войны жило в уверенности, что они – прекрасные родители, каких поискать, и у их детей счастливое детство, то поколение гиперответственных почти поголовно поражено «родительским неврозом». Они (мы) уверены, что они чего-то не учили, не доделали, мало «занимались ребенком (еще и работать посмели, и карьере строить, матери-ехидны), они (мы) тотально не уверены в себе как в родителях, всегда недовольны школой, врачами, обществом, всегда хотят для своих детей больше и лучше.

Несколько дней назад мне звонила знакомая – из Канады! – с тревожным вопросом: дочка в 4 года не читает, что делать? Эти тревожные глаза мам при встрече с учительницей – у моего не получают столбики! «А-а-а, мы все умрем!», – как любит говорить мой сын, представитель следующего, пофигистичного, поколения (*этот прогноз не вполне подтвердился, поколение сегодняшних молодых родителей оказалось тоже довольно тревожным в родительской роли – Л.П.*). И это еще его спасла

непроходимая лень родителей и то, что мне попалась в свое время книжка Никитиных, где говорилось прямым текстом: мамашки, не парьтесь, делайте как вам приятно и удобно, и все с дитем будет хорошо. Там еще много всякого говорилось, что надо в специальные кубики играть и всяко развивать, но это я благополучно пропустила. Оно само развилось до вполне приличных масштабов.

К сожалению, у многих с ленью оказалось слабовато. И родительствовали они со страшной силой и по полной программе. Результат невеселый, сейчас вал обращений с текстом: «Он ничего не хочет. Лежит на диване, не работает и не учится. Сидит, уставившись в компьютер. Ни за что не желает отвечать. На все попытки поговорить огрызается». А чего ему хотеть, если за него уже все отхотели? За что ему отвечать, если рядом родители, которых хлебом не корми – дай порешать его проблемы? Хорошо, если просто лежит на диване, а не наркотики принимает. Не покормить недельку, так, может, встанет. Если уже принимает – все хуже.

Но это поколение еще только входит в жизнь, не будем пока на него ярлыки вешать. Жизнь покажет.

Чем дальше, чем больше размываются «берега», множатся, дробятся, причудливо преломляются последствия пережитого. Думаю, к четвертому поколению уже гораздо важнее конкретный семейный контекст, чем глобальная прошлая травма. Но нельзя не видеть, как много из сегодняшнего дня все же растет из прошлого.

Собственно, осталось еще немножко, почему это важно видеть, и что со всем этим делать.

Завершая разговор о передаче травмы

21 мая 2010 г.

Всем привет!

В общем, вы и без меня тут неплохо пообщались: поругались, помирились, пообнимались, всплакнули, друг друга полечили и назадавали мне тьму тьмущую вопросов. На которые попробую поотвечать по мере возможности.

Сначала вот о чем. Меня тут уличили, что я отвечаю тем, кто со мной соглашается и пишет, что «отозвалось», и игнорирую комменты типа «вы не правы, все не так, у нас в семье было иначе». Наблюдение абсолютно верное, я даже сама сначала удивилась, а потом поняла, почему.

Наверное, странно, но мне как-то совсем не важно, права я или нет. Вернее, даже так: некорректно задаваться таким вопросом, он неуместен. Мои тексты не являются ни научным исследованием, ни полемической публицистикой.

Больше всего эти тексты похожи на дублирование – есть такая важная техника в любимом мной методе психодрамы. Там психодраматист, ведущий, стоит за спиной человека, работающего со своей темой, и подстраивается под него: позой, дыханием, мыслями, чувствами. Становится дублем, «вторым я», задача которого – озвучить то, что сам человек не может пока осознать, или осознал, но не может выразить словами, потому что сложно, много всего, слезы душат, внутренний запрет и т. д. При дублировании дается инструкция: «Если тебе подходит, повтори», «Если отзывается, скажи это еще раз». А если нет – просто пропусти мимо ушей, отмахнись. В реальной работе иногда человек повторяет, как эхо, иногда уточняет, иногда может сказать что-то совсем свое. Главное – чтобы отозвалось, так или иначе, вызвало движение чувств и мыслей. Дублирование не может быть «верным» или «неверным», его нельзя проверить на «объективную истинность», и уж точно не может быть одного универсального дублирования для всех. Критерий «хорошего» дублирования – отклик, попадание, отзыв. Отзыв был сильный, одних комментов вон сколько. Часто очень точный, многие находили слова, приводили примеры, которые меня, в свою очередь, цепляли, и вызывали чувства и мысли. И тогда мне хотелось ответить, продлить возникшую связь. А если кому-то не отозвалось, мимо прошло, так зачем спорить? Значит, это не про них, только и всего. Объективно не про них, или это такое отрицание – не очень важно, ведь за что я люблю психодраму: она не насилует, не взламывает защит. Каждый может услышать ровно столько, сколько он готов и хочет сейчас. Я меньше всего хотела бы кому-то насильственно «открывать глаза». Именно поэтому я призывала к осторожности всех, кто спешил поделиться «прозрением» с родителями. Одно дело, когда человек сам случайно наткнулся на текст или получил ссылку от друга, ровесника, другое – когда ребенок тебе его показывает «со значением». Надеюсь, у всех все обошлось.

Так вот, это было что-то вроде дублирования сразу большой общности людей, поколения или его части. Опыт был очень непростой для меня и очень неожиданный. Ведь многое из того, что написано, и с моей семьей буквально не совпадает. Моя бабушка была очень теплой, а мама руководила отделом крупного строительного треста и вряд ли была такой уж беспомощной. И открытых дверей никогда не требовала, и

видеться с отцом не запрещала. Но в общем и целом, для поколения, это слышалось так.

Поэтому не обижайтесь все те, с кем я не стала спорить. Если вам было важно, что-то прояснилось, отпустило – я очень рада. Оказалось мимо – тоже нормально.

Я понимаю, что это сильно непривычный жанр для ЖЖ, где люди, наоборот, скорее настроены на полемику, ну, уж простите. В другой раз поспорим.

Интересно, что единственный раз за все время, когда я очень жестко отреагировала, был связан с комментарием в духе «это все от того, что они бездуховные совки, не верящие в Бога». Вот сама удивилась, но поймала себя на том, что глотку сейчас перегрызу за «своих», даже и за Страшную бабу тоже. Какая-то у нас тут родность образовалась в процессе, и можно сколько угодно ругаться внутри, тут кого только не было – от сталинистов до скинхедов, но вот так снаружи, свысока, обесценивая все пережитое нами и нашими родными...

Очень расстроило, что кто-то не услышал важное: восприятие ребенком ситуации может сильно отличаться от реального положения дел. Это не люди военного времени своих детей не любили, это ребенок так воспринимал их «затвердевшее» от горя и перенагрузок состояние. Это не сами дети войны были по-настоящему повально беспомощны, это их дети так трактовали безумный запрос родителей на любовь. И «дяди Федоры» тоже не параноики, намеренно убивающие в своих детях всякую живую инициативу, ими движет тревога, а ребенок может воспринимать это как установку «быть беспомощным».

Понимаете, никто не виноват. Никто не рожал детей, чтобы их не любить. Я уже говорила и повторю еще раз: это не про психов ненормальных история, не про уродов бездуховных, которым лишь бы устроиться в жизни получше за счет других. Это все – про любовь. Про то, что люди – живые и ранимые, даже если могут вынести невозможное. Про то, как странно искажается поток любви под влиянием травмы. И про то, что любовь, когда она искажена, может мучить хуже ненависти.

Поколение горя и stoического терпения.

Поколение обиды и потребности в любви.

Поколение вины и гиперответственности.

Вот уже прорисовываются черты поколения пофигизма и безвольности.

Зубцы колес цепляются друг за друга – «передай дальше», «передай дальше».

Меня тут спрашивают: а что же делать? А что делать, когда поток засорен, забит, запружен, искажен?

Чистить. Разбирать, разгребать, по колено, по пояс, по сколько надо в грязную тухлую воду лезть и руками чистить. Вытаскивать оттуда обиды, вину, претензии, неоплаченные счета. Промывать, сортировать, что-то выбрасывать, что-то оплакивать и хоронить, что-то оставлять на память. Давать место и путь чистой воде. Можно делать это самому, с психологом, индивидуально, в группе, просто обсуждая с друзьями, супругами, сестрами-братьями, читая книги, как угодно, кто как может и хочет. Главное – не сидеть на берегу мутного потока, обиженно надув губы. Потому что так можно всю жизнь просидеть, а поток дальше пойдет – детям, внукам. Экологически сильно нечистый. И дальше придется сидеть и бухтеть про никуда не годных детей.

Мне вот кажется, что это именно нашего поколения задача, не случайно большинство участников обсуждения – именно из него. Потому что, напомним, ресурса у нас много. Брать на себя ответственность – не привыкать. Образованные мы все, опять-таки. Сдается, эта задача нам вполне по силам. Ну, и вообще, сколько можно, хватит уже.

Было много вопросов про то, как быть с родителями, детьми и с собой. Не представляю, как можно давать тут конкретные «советы по Интернету», но про общие принципы постараюсь написать.

Передача травмы: про родителей

23 мая 2010 г.

Спрашивали, как вести себя с родителями. С теми, которые недолюбленные дети. Это очень сложный вопрос.

Опыт показывает, что если дети что-то разгребают в себе, то и родителей поотпускает немножко. Хотя не всегда. Здесь хэппи-энд никому не гарантирован, и может быть такая ситуация, что единственным решением будет защищать уже собственных детей. Иногда такое давление и даже агрессия бывают, что нужно просто ограничивать контакты, сберегать свою семью. Потому что, что бы ни казалось на уровне чувств, ответственность перед детьми гораздо важнее ответственности перед родителями. Жизнь идет вперед, а не назад, поток должен идти от предков к потомкам. К счастью, совсем тяжелые варианты все же не очень часто встречаются.

Главное – все, что можно, остановить на себе, не пускать дальше, не накручивать еще более тугие петли вины и обиды. Кстати, иногда мне кажется, что одна из причин расцвета чайлд-фри (конечно, не единственная) – это такой вот способ прекратить передачу «не того» родительско-детского сценария, когда длить его не хочется, а в возможность изменить не верится. Такая радикальная реакция и на страх потерять детей, и на представление о том, что растить ребенка – нереально тяжело. Возможно, и психологически обусловленное бесплодие отсюда. Мне приходилось видеть психодраматическую работу, в которой женщина начала с вопроса: «Почему не могу забеременеть?», а вышла на свою прабабку, которая во время голода и эпидемий 1930-х годов схоронила всех детей, кроме одного.

Но вернемся к родителям. Здесь главное, как точно сказал кто-то из комментаторов: вычлениать те реплики, которые адресованы не тебе. Когда поколение «детей войны» обращается к своим детям, они на самом деле очень часто говорят не с ними, а с родителями. Это к ним, к родителям, обращено «не могу уснуть, пока тебя нет дома». Просто тогда не было выбора, не было возможности это сказать, родители ничего не могли поделать, напоминать им о своих неудовлетворенных детских потребностях было бы просто садизмом. А потребности остались, и теперь вопят о себе. Но как бы дети третьего поколения ни старались, в чем бы себе ни отказывали, как бы ни готовы были даже принести себя в жертву, это ничего не даст. Ведь запрос – не к нам. Машины времени у нас нету, чтобы приглубить того малыша,

которым когда-то были мама или папа. Мы можем сочувствовать, жалеть того ребенка, можем стараться помочь родителям сейчас, но когда мы пытаемся ставить задачу их «вылечить», «сделать счастливыми», это гордыня. Кстати, гордыня – ипостась гиперответственности. Немножко мы себе насочиняли в нашем дядиФедорном детстве, что от нас все зависит, и без нас все пропадут. По сути, иррациональная вина, которую мы чувствуем перед родителями – это вина за то, что мы не способны сделать невозможное, не Господь Бог мы и даже не ангелы. Согласитесь, довольно странная причина для вины. Ну, при условии отсутствия психиатрического диагноза. Скромнее надо быть.

Как же тогда ко всему этому относиться? Да вот как-то без лишней патетики. Я много работаю с приемными родителями и приемными детьми, пережившими настоящее сиротство, подлинное одиночество, а то и жестокость. И, может быть, поэтому у меня несколько ироническая всегда реакция на разговоры о «плохих родителях» – очень уж по роду работы часто приходится сталкиваться с тем, что такое по-настоящему плохие родители. Которые, знаете, сигареты об детей тушат, и не только. У которых у самих, в свою очередь, иногда такая семейная история, что нам в страшном сне не приснится.

Так что для начала хорошо бы отдать себе отчет, как нам все-таки повезло со временем и с родителями. Одно то, что мы сейчас сидим и ведем умные разговоры, что у нас есть для этого душевные силы, хорошее умственное развитие и деньги на компьютер и Интернет – это признак достаточно благополучного детства. И достаточно хороших родителей. Те из наших сверстников, кому повезло меньше, коротают сейчас вечерок совсем по-другому, если живы еще.

Конечно, многого жаль, и горько, и обидно до сих пор. Травма есть. Ее глупо и вредно отрицать и замалчивать, потому что тогда рана гноится и не заживает. Но и делать ее «священной коровой», главным событием жизни, тоже глупо. Травма – не приговор. Живут люди со следами ожогов на теле, без руки, без ноги, и счастливы. С душевной травмой тоже можно жить и быть счастливым. Для этого надо ее осознать, при необходимости рану очистить, обработать, лечебной мазью помазать. И после этого перестать фиксироваться на прошлом, ибо в настоящем много всего хорошего. Это самое важное, наверное. Перестать уже предъявлять судьбе вексель. Списать долги. Осознать, что да, в чем-то ты был обделен судьбой, но того, что есть – очень много, и этого достаточно.

Иногда, глядя на родителей, важно просто напомнить себе, что они – родители, они старше, они предки, как ни крути. А мы –

их дети, по сравнению с ними всего лишь маленькие глупые дети, мы не можем, даже если б захотели, отвечать за то, будут ли они счастливы, за их здоровье, их брак, их настроение, за то, что они делали и делают со своей жизнью. Даже если им вдруг кажется, что мы можем, на самом деле – нет. И если они решат вдруг угробить себя, мы можем горевать и плакать, но поделаться с этим ничего не сможем, и встать между ними и их судьбой мы не в силах. Мы всего лишь дети.

Что мы можем? Помогать, поддерживать, радовать, ухаживать, если заболеют. Но без глобальных амбиций «сделать все». Как можем, как получается, как считаем нужным. С правом на ошибки и несовершенство. Только тяжелая болезнь и явная старость «меняют ролями» детей и родителей, и тогда это правильный обмен, естественный круговорот жизни. Иногда мне кажется, что они потому и болеют так тяжело, что болезнь дает нам возможность поухаживать за ними, как за детьми, «легально», не нарушая иерархии, не делая вид.

Как-то так. Это, конечно, очень общие вещи, и не все можно сделать «через голову». Если сильно мучают отношения с родителями, я бы советовала поработать со специалистом. Очень уж сильные чувства задействованы, очень мощные блоки стоят. С этим всем лучше иметь дело в условиях поддержки и безопасности. Ну, и не все умными словами опишешь, особенно связанное с детским опытом, когда мы скорее живем чувствами и телом, чем головой.

Зачем Герасим утопил Муму

17 июня 2015 г.

Не зачем утопил, а зачем эта жуткая и малопонятная история детям в пятом классе. Даже еще до того, как они про крепостничество узнали.

Почему оно прочно в школьной программе с советских времен – понятно, обличение «жизни при царе». Почему так рано – думаю, очень просто, потому что про собачку. Детям будет жалко собачку, и они невзлюбят крепостничество. И вообще, про собачек – это детям.

Я в свое время уже на эти грабли наступала. Моя дочь во втором классе как-то утром вдруг вспомнила, что рассказ заданный не прочла. Ну, это для нее типично, ничего страшного, читала она уже быстро, говорю: пока я тебя буду заплетать, прочтешь.

А рассказ оказался «Лев и собачка». Доброго к детям ненасильственного графа Толстого. Ну, вы помните. Там не ту, неправильную собачку лев разорвал, потому что любил правильную. Через пять минут я имела полузаплетенного и безутешно рыдающего ребенка, совершенно непригодного к получению образования. Помянула незлым тихим словом и графа, и программу, и учительницу, и себя, что не посмотрела сразу, что она там читает.

А вы говорите – пятый класс. К нему у детей уже защитная смазка образуется, обильно выделяемая при столкновении с великой русской литературой. В виде хохмочек, шуточек и прочего обесценивания. Поскольку история про Муму – на самом деле очень страшная, то и фольклора защитного про нее особенно много.

Да что там дети – редкий взрослый захотел бы на досуге это перечитать.

И выносит от этого рассказа вовсе не потому, что про собачку. И даже не потому, что про крепостничество.

Давайте я попробую объяснить, как мне видится.

То, что барыня была во многом списана с матери Тургенева, – известный факт. И история похожая была, только там бедолага никуда не ушел. Все стерпел и остался верен госпоже.

Детям в школе про это рассказывают, а вот все подробности детства писателя благоразумно не сообщают.

А была там жуть жуткая, жестокое обращение на уровне истязаний. Мамочка была, похоже, психопатом, и сама, видимо,

посттравматиком, детей била за все подряд, и ни за что – тоже. Любимая забава была – наказывать, а за что – не говорить: «Тебе лучше знать». Стратегии избегания не было – избыток по-любому. На детей доносили все слуги, а мамочка еще любила в процессе экзекуции изобразить, что она так расстроена, что аж сердце болит, сейчас помрет, и потом в письме описывала, как трогательно пугался за нее сынок, которого она только что хлестала розгами. Защищать детей было некому, власть матери над ними была полной, другие привязанности не допускались.

То есть имел место самый тяжелый по последствиям сценарий насилия над ребенком:

тотальность (нет стратегии избегания, как хорошо себя ни веди, все равно избыток);

амбивалентность (единственный человек, которого ты любишь, истязает тебя);

обвинение жертвы (неблагодарный, довел мамочку);

нет защитника, кроме самого насильника.

Короче, сука была та еще, не в обиду Муму будет сказано.

Старшего сына она полностью сломала, судя по его жизни, он был глубоко виктимным человеком. А Иван сопротивлялся хоть как-то, убежать хотел, но поймали и высекли до полусмерти. Кроме избиений, был тотальный контроль всех сторон жизни, постоянное психологическое насилие.

И вот в контексте всего этого история про Герасима читается как попытка осмысления своего опыта, нарративная практика. Написан рассказ был, когда Тургенев сидел под арестом, что само по себе создает условия. С одной стороны, есть триггер: ты опять в чьей-то власти. С другой, есть время, покой и достаточная безопасность. Самое оно.

Герасим – глухонемой богатырь, которого насильно привезли в дом барыни.

Это же метафора одаренного ребенка, который не мог выбрать, где ему родиться, который не имеет ни слов, ни прав, а главное – изначально искренне хочет быть «хорошим мальчиком», заслужить любовь матери (кстати, сам Тургенев был тоже богатырского сложения).

Ему очень тяжело, но он очень старается, проявляет преданность и усердие, и долго надеется, что ему удастся стать настолько «достойным» (сшить кафтан), что ему разрешат просто жить, иметь свою тайную личную жизнь души, любить кого-то. А уж за ним дело не станет – он всегда будет верным слугой.

Сама Татьяна, тихая, кроткая, безропотная – это та субличность, на которую ребенок в такой ситуации надеется как на спасительную. Если быть очень-очень-очень милым и

послушным, то, может быть, не уничтожат, не выжгут в тебе все, пощадят.

«Как бы не так! – отвечает на это барыня-мамаша, – тайную жизнь души ему, любовь ему, накося выкуси!», – и устраивает мерзкую историю с якобы напившейся Татьяной и насильственным замужеством. То есть отдает эту самую кроткую субличность на поругание, растаптывает ее, да еще обставив все так, что, мол, она сама виновата, дрянь такая.

И приходится с этой надеждой проститься. Этот путь оказывается закрыт. В ситуации такого насилия сохранить свою душу живой, любящей, развивающейся невозможно.

Ребенок все еще не сломлен, он не готов сдаться и превратиться в зомби, пустую услужливую оболочку без души, стать полным рабом.

Новая попытка – затаиться, ужать все свое живое и уязвимое до совсем малого, пренебрежимого размера – подумаешь, собачка, ну кому она помешает. Мелкая тварь, крошечный кусочек живого и теплого, лично значимого, а так – я вот он, весь ваш покорный слуга.

Но нет, насильника не обманешь. Он спинным мозгом чувствует, где осталась зона, свободная от его контроля.

Как в разговоре Уинстона с О'Брайеном: «Я не предал Джулию», – и ухмылка в ответ, почти сочувственная: предашь, дорогой, куда денешься. Все будет зачищено, до закоулочка. Они оба понимают, как это важно, – даже крохотный уголок любви и привязанности в сердце стоит между тобой и Большим Братом, это последний оплот перед уничтожением души. Особая близость и полное взаимопонимание жертвы и палача.

Положение ребенка, который находится во власти жестокого родителя, всегда еще хуже. Потому что он при всем при том любит насильника всей душой и мечтает о его любви – до последнего. И нет такой жертвы, которую бы он не принес – не из страха, а просто потому, что до самой глубины души уверен, что так правильно. Он же ребенок, он принадлежит родителю по праву, и его душа тоже.

Вот этот последний крохотный кусочек надежды на материнскую любовь Герасим и топит, а сначала заботится о ней, прощается и оплакивает. Как оно и бывает в терапии.

Теперь он может уйти, он больше не привязан – ни в каком смысле. И больше не ребенок.

В жизни, конечно, все сложнее.

Знаете, что мамаша Тургенева велела написать над входом в дом, когда сыновья ушли из-под ее власти? «Они вернутся».

Такой риск всегда есть, виктимность тянет. Он даже

маленькую дочь старухе поручал на время, но потом опомнился.

Хорошо, когда удастся осмыслить свой опыт в образах, выговориться, разыграть по ролям внутреннюю драму своей души. Тогда можно уйти, пусть с потерями и ранами, но все же освободиться. И прожить свою, непростую, не очень счастливую, но свою жизнь, со своими чувствами и своим выбором.

Возвращаясь к детям и чтению «1984» Оруэлла мы дали ребенку читать в 14.

А «Муму» и в 14 рано, потому что семейные ужасы страшнее ужасов режима.

Посттравматический синдром национального масштаба

16 октября 2015 г.

Все же поражает масштаб и накал диспута вокруг награждения Нобелевским комитетом Светланы Алексиевич. Когда я увидела это сообщение в ленте новостного агентства, искренне обрадовалась. И за Светлану Алексиевич, и за Нобелевский комитет, и за жанр «романа голосов», и за русскоязычную культуру в целом – если уж «болеть за своих». Мне казалось, что никакой другой реакции и быть не может. Однако ж выяснилось, что даже такое событие воспринимается очень неоднозначно.

Чего только не довелось прочитать в последние дни – и что книги Алексиевич призваны «очернить советское прошлое», причем за иностранные гранты, и что писатель и стилист она никакой, и что никто ее вообще не знает (для справки: тиражи доходят до четырех миллионов, издания есть на 20 языках), и что это вообще не литература, а журналистика. Оказалось, что радость или раздражение по поводу присуждения этой премии прямо зависят от политической ориентации оценивающего – условные «патриоты» и примкнувшие к ним в очередной раз левые негодуют, условные «либералы» – одобряют. При этом обе стороны ехидно уличают друг друга, что книг-то не читали, и осуждают-одобряют так, из партийных соображений. Грустно, коли так. Использовать страдания людей, запечатленные в этих книгах, как разменную монету в политических дебатах некрасиво, мне кажется.

Не про «плохой совок»

Мне всегда думалось, что книги эти не про «плохой совок», а про трагическую историю нашего народа. Казалось бы, кому, как не патриотам, их уважать и ценить, ведь они про реальный героизм, про силу духа людей, которые оставались живыми и выполняли свой долг в непредставимых для нас обстоятельствах. Работа, проделанная Алексиевич, в чем-то сродни работе поисковых отрядов, отыскивающих останки погибших солдат, – найти, отдать дань уважения, почтить память. Считать ее «чужой» из-за того, что она в интервью ругает дорогого вашему сердцу Путина? Слушайте, ну мелко же.

Разве не важнее, что с этой премией мир начинает

внимательно вглядываться в нашу с вами такую непростую историю, признает ее трагизм, склоняет голову, сопереживает нашим предкам? Пусть почитают, им полезно. Меньше будут писать, что Вторую мировую выиграла Америка с некоторой помощью симпатичных французских партизан.

Или, в конце концов, если вам не близки ценности этого «гейропского» мира и не важно его признание, то, может, вообще не переживать по поводу какой-то там их дурацкой премии? Ну, дайте Прилепину или поэтессе какой свою, правильную, духовноскрепную. Что ж так злобой-то исходить?

Что касается другой стороны, я хочу лишь заметить, что, используя такие тексты прежде всего как свидетельство того, «как в совке относились к людям», мы сами начинаем относиться к людям ровно так же. Тут один шаг до мысли «а вот бы они еще побольше страдали, у нас бы было больше козырей в руках».

Поэтому я не очень хочу участвовать в этом споре на какой-то стороне, напишу просто, почему для меня это событие оказалось важным.

Трансгенерационная передача травматического опыта

В свое время на меня огромное впечатление произвели книги «У войны не женское лицо» и «Последние свидетели». Тема войны как травмы меня давно интересовала, а такого прямого доступа к опыту людей было немного. Понятно, что о таком не рассказывали ветераны школьникам, не показывали по телевизору и не писали в «правильной» литературе – там все больше про чувства, про любовь к Родине и долг, а про то, как обходились девчонки на фронте с месячными – нету. Хотя, если честно, на человека, на женщину, гораздо большее влияние оказывает не любовь к Родине, а вот этот опыт, когда она идет по жаре километр за километром, и по ногам течет, и все саднит, а мужчины отводят глаза. С этим опытом, с этим следом в душе она потом живет жизнь, рождает и растит дочерей и сыновей, и этот опыт отражается на том, как она их растит. И как они потом растят своих. Этот опыт переплавляется потом в самое разное, и, не зная о нем, невозможно понять очень многое в сегодняшних российских семьях и в отношениях между людьми, а это уже имеет прямое отношение к моей профессии.

Трансгенерационная передача травматического опыта и его последствий внутри семей – это очень для меня важная тема, я столько раз, начиная распутывать клубок с чего-то, казалось бы, вовсе далекого, натыкалась именно на это.

Начинаем разговор с молодой приемной мамой, которая жалуется на непонятную ей самой неприязнь к долгожданному малышу, такому вроде славному, нуждающемуся в ее любви. Она все для него делает, а сама не чувствует ничего, кроме тоски, долга, безнадежности и страха осуждения. И вот, перебрав все, лежащее ближе к поверхности: недостаточную подготовку к приему ребенка, сложности в отношениях с мужем, накопившуюся усталость, детские обиды, и выяснив, что все это «не то», не вызывает узнавания и эмоционального отклика, мы утыкаемся во всплывающее «вдруг» воспоминание о семейной истории, когда-то слышанной в детстве. Про бабушку этой сегодняшней мамы, младшую из нескольких детей, оставшуюся без матери вскоре после рождения. Отец женился почти сразу на молодой девушке, чтобы за детьми было кому смотреть. А тут начался голод. Большой голод. Отец умер, кто-то из детей тоже, кого-то из старших успели приткнуть учиться в ФЗУ, а младшую мачеха каким-то образом вывезла в город и там оставила на вокзале – в три года. Потом детдом, где ее через десять лет нашел кто-то из выживших старших. Историю в семье рассказывали с осуждением – «своего бы не оставила». А когда мы вспоминаем эту историю сейчас и думаем, каково было этой самой мачехе, у сегодняшней благополучной молодой женщины слезы потоком – и она узнает все свои чувства: тоску, обреченность, долг спасти чужого ребенка, и никакой любви и радости материнства, а вслед – только осуждение. Неосознанный, непринятый, похороненный в семейной памяти на долгие годы опыт всплывает в ответ на некое сходство ситуации – приемный младенец на руках – и подчиняет себе сегодняшние чувства. Не зная этого исторического контекста, не понимая, через что пришлось пройти целым поколениям, с российскими семьями работать невозможно, это мое глубокое профессиональное убеждение.

Это очень мало кому по силам

Вторая причина тоже связана с профессией, я хорошо представляю себе, каково это – пропускать через себя подобный материал. Слушать, принимать, выдерживать, когда не знаешь, что тяжелее слышать – судорожные рыдания или спокойный отстраненный голос. Я очень хорошо знаю, чего это стоит, поскольку приходится иногда слушать рассказы бывших воспитанников детских домов или их приемных родителей – там та же степень инфернальности, что в рассказах о войне, та же тотальная незащищенность маленького человека в жерновах.

Никакие деньги, никакая известность, никакие премии и гранты – ничто не стоит того, чтобы, однажды побывав в этой преисподней, снова и снова туда добровольно спускаться, при том, что тебе лично это не нужно, и тебе ничего не грозит из этого. Но кто-то же должен.

Больше шансов спуститься туда и выйти обратно у человека с достаточным запасом внутреннего благополучия. Приходилось читать упреки, что Алексиевич не свой опыт осмысляет, а опыт других людей использует. Честно говоря, такой свой опыт осмыслить и описать – это очень мало кому по силам. Единицам. И обычно это очень незаурядные люди: Франкл, Шаламов. А как услышать голоса остальных? Тех, кто никогда бы не написал книгу? Кто их спросит, кто запишет? Алексиевич успела, и это очень ценно.

Мы не можем изменить историю и спасти этих людей от их травматического прошлого (психолог здесь может несколько больше, чем писатель, и все равно не то чтобы очень много). Но они имеют право быть хотя бы выслушанными. Хотя бы сохранить свои голоса, не кануть в Лету безмолвным расходным материалом истории.

При этом мне не все близко из того, что говорит Алексиевич в интервью, мне неприятны постоянные повторения про то, что здесь «никого не осталось», «нет свободных лиц» и так далее. Я не знаю, может, это обычное иммигрантское, когда есть какая-то потребность себе объяснить отъезд. Или работа с травмой все же сформировала «туннельное видение», я этот эффект хорошо знаю, когда смотришь вокруг и видишь сплошь несчастных сирот. Это не значит, что «никого не осталось», это значит, что лично мне пора в отпуск. Наверное, работа журналиста или писателя с таким материалом тоже требует поддержки в виде супервизии, как и работа психолога, чтобы разобраться с наведенными «полем» эмоциями и фантазиями. Но в любом случае эта работа вызывает у меня огромное уважение и сочувствие. Я чувствую как будто цеховую солидарность, хотя это и другая профессия.

Диссоциативное расщепление

Наша история очень и очень травматична, особенно история прошедшего века. Я думаю, мы все имеем дело с посттравматическим синдромом национального масштаба. Одна из его составляющих – диссоциативное расщепление. Это такая психологическая защита, избираемая психикой в непереносимых обстоятельствах – отщепить страдание, капсулировать его, чтобы

не чувствовать душевной боли, оставаться функциональным и за счет этого выжить. Я уже писала о том, как заметно диссоциативное расщепление в книгах, написанных прямо во время событий – таких, как «Радуга» Ванды Василевской, там о чудовищных событиях говорится безэмоционально, в сдержанной описательной манере: вот труп сына лежит, вмерзший в сугроб, мать ходит проведывать, вот роженицу бьют сапогами, а новорожденного спускают в прорубь у нее на глазах, вот мальчика застрелили, мать его закапывает прямо в сени. Эта же пугающая ровность слышна во многих записях Алексиевич: перечисление действий, событий, бытовые детали – как будто сквозь стекло, словно это не со мной.

Диссоциация сама по себе не есть плохо – это способ сохраниться, не сойти с ума, вполне функциональный механизм при условии, что он действует только на время. Когда нужно собраться, выжить, спастись, «дойти до своих». И там уже дать волю слезам, гневу, страху – всему, что было «отморожено», засунуто в капсулу. Но вот в чем проблема с проживанием травмы в нашей истории. Никаких «своих» не было. Ни по ту сторону фронта, ни по эту, и нигде вообще. Все эти героини Василевской после возвращения советской армии могли отправиться теперь уже в советские концлагеря. В глазах Родины они были преступниками, а не жертвами, раз не умерли в битве с врагом, раз посмели выжить на оккупированных территориях. А уж если бы они начали говорить и вспоминать... Никакого понимания, никакого сочувствия, никакого утешения, никакой помощи и защиты. Не смей говорить и помнить, заткнись и забудь.

Так диссоциация из временной защитной меры становится частью культурной нормы, частью национального характера. Это огромная и очень болезненная тема. Оно болит до сих пор, сказывается до сих пор, и не только ведь в той войне дело, много было всего еще и до, и после. Там такие объемы травматичного опыта, что заглянешь – и дна не видно. Но надо хотя бы пытаться. Застарелая диссоциация даже в масштабах психики одного человека может иметь довольно плохие последствия, что уж говорить, если она становится частью коллективного бессознательного.

Не мы одни через это проходили. Свидетельства жертв Холокоста стали собирать только в 1970-х, до этого им тоже предписывалось молчать. Не под страхом тюрьмы, конечно, просто висело в воздухе. Но спохватились, записали, собрали, еще застали в живых. Канадские «сироты Дюплесси» получили возможность говорить тоже лишь через десятилетия. А сколько трагедий так и остались лишь скупыми строчками хроник, потому

что голоса жертв и свидетелей не записал никто.

Есть сказочный сюжет у многих народов – про совершенное убийство, про то, как жертву закопали, всем солгали, но потом на холмике вырос тростник, пастушок тростник срезал и сделал дудочку, и дудочка эта на весь свет рассказала, что случилось на самом деле. Мне кажется, это самая точная метафора такого рода литературы, как «роман голосов». Несмотря на то, что опыт страдания всеми силами пытаются похоронить, продолжают требовать заткнуться и забыть, «не порочить светлый образ», не «искажать картину», люди решаются – и говорят. И каждый решившийся заговорить несет послание другим: «Не молчи! Это твоя жизнь, твой опыт, твоя правда, никто не смеет ее закапывать и хоронить в тайне».

Игра в бисер

Наконец, еще одна причина, по которой мне хочется приветствовать решение Нобелевского комитета – литературная. Если честно, замечания «а никто не читал» по поводу книг нобелевского лауреата звучат забавно. Можно подумать, кто-то читал книги, награжденные в прошлом, позапрошлом и так далее году. Уж не обитатели Рунета точно, разве что за редким исключением.

Сама я в последние годы перестала читать современную «серьезную» литературу. Только нон-фикшн и подростковую. Там еще сохранились жизнь, чувства, искренность. А вся эта бесконечная постмодернистская игра в бисер, которая в наши дни обычно собирает премии и восторги критиков, давно не вызывает ничего, кроме раздражения. Может, конечно, я что-то пропустила, а может, все дело в моей бездуховности и плохом вкусе, но сдаётся, что моя френд-лента интересней, и содержит больше живых чувств и новых мыслей, чем типичный «премиальный» роман с внутренними монологами, потоками сознания и просчитано вставленными эротическими сценами и социально значимыми сюжетами.

Поэтому я уже давно не следила за решениями нобелевского комитета – да какая разница, какую высоколобую политкорректную скупищу они в очередной раз назовут лучшей в мире «по гамбургскому счёту», забывая завет почтенного динамитчика. Потому что динамитчик, между прочим, просил не за игру в бисер награждать, а за влияние на культуру и на мир в целом. Так что пока они не решатся дать нобелевку Роулинг – и говорить не о чем, думала я уже давно.

И вот премия Алексиевич, автору жанра «романа голосов». На мой взгляд, это правильно и справедливо, это как бы приглашение новых жанров в литературу на законных правах. Мне кажется, и вполне классической по жанру литературе пойдет на пользу соседство и соперничество с живыми голосами людей.

Что касается влияния на мир в целом, я надеюсь, что, оказавшись в центре внимания, книги Алексиевич дадут миру шанс лучше понять Россию и ее историю (на долгом отрезке общую с ближайшими соседями). Возможно, это будет, наконец, понимание, отличное от нескольких навязших в зубах и равно далеких от истины ярлыков: про «особую духовность», про «жалкую нацию, нацию рабов», про «агрессивного русского медведя-психа», про «загадочную русскую душу» и т. п. Мы на самом деле не жалкие, не особенно духовные, не сумасшедшие и даже не очень загадочные. Нам просто очень сильно досталось. Больше, чем можно вынести, не изменившись.